

Дмитрий Воденников

ВОДЕННИКОВ В ПРОЗЕ

Лучшие эссе



КУЛЬТУРНЫЙ
РАЗГОВОР

18+

Дмитрий Воденников
Воденников в
прозе. Лучшие эссе
Серия «Культурный разговор»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28726757

*Воденников в прозе. Лучшие эссе: Издательство АСТ: Редакция Елены
Шубиной; М.; 2018
ISBN 978-5-17-105450-2*

Аннотация

«Воденников в прозе» – это сборник лучших эссе Дмитрия Воденникова, поэта, эссеиста, ведущего программы «Поэтический минимум» на «Радио России» и автора восьми книг стихов («Репейник», *Holiday*, «Черновик», «Здравствуйте, я пришел с вами попрощаться», «Обещание» и др.). Эссе были опубликованы в разное время на сайтах «Газета.ru», *millionaire.ru*, *carpegie.ru*, в журналах «Сноб», *Story*, «Русская жизнь». Так же, как и стихи, проза Воденникова удивляет редким сочетанием иронии, лиризма и пронзительной энергии.

Содержание

Предисловие	5
Воденников в стране	8
Россия как тело	8
Бритвы древних славян	17
Вагон набирает ход	22
Камешек под майонезом	27
Фет, плюющий на Университет	31
Зловредство и сиротство	36
Не спать	42
Прыжки на ветхом мосту	48
Следующая станция – конец	53
Время собирать розы	60
Поколения «П»	66
Тарелочки для пайки	71
Балконы большого города	78
Сделайте нам красиво	84
Больше ненависти, господа	89
Как на ладони	94
Воденников в любви	99
Трактат о поцелуях	99
Конец ознакомительного фрагмента.	102

**Дмитрий Борисович
Воденников
Воденников в
прозе. Лучшие эссе**

© Д.Б. Воденников, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Предисловие

Однажды я вышел из дома и пошел.

Как Форрест Гамп, который побежал. Никто не знал, зачем он это делает (и я не знаю), но я пошел.

Сперва пять километров, потом десять, теперь, через три года, – десять мне кажутся неудачей. Я прохожу минимум тринадцать. Максимум двадцать два.

Мне открылась Москва, открылись Питер и Париж. Я увидел их совсем иначе.

И кое-что узнал про себя новое.

Больше всего (больше людей, победы и любви) мне нравится пустота.

Мои километры – это именно и есть пустота.

Я как злой просветленный в апреле.

Мне нравится эта пустота. Когда снег уже сошел, сухая земля, сухой асфальт, еще никакие почки не взорвались. Это мое любимое время – было любимым, по крайней мере. Теперь я ничего особенно не люблю, кроме двух-трех человек и победы. И ощущения того, что многое, что нас окружает в этой жизни, – это стихи. Пусть странные, не буквами и не звуками, но стихи.

Я помню, несколько лет назад лежал в полусумеречном состоянии на кровати и вдруг услышал звук: кто-то катался на роликах – шорк, шорк. У меня тихая улица, я это слышал

– и меня как будто раскачало. Пришло несколько строк, я подумал: «Боже мой, это же стихи! Они вернулись!» Это ни с чем не перепутаешь: был гул стихов. Я стал писать на каком-то клочке, быстро что-то набрасывать. Знаете, когда я пишу, я быстро это делаю, будто вытягиваю из себя. Было непонятно – то это или не то, но у меня сердце колотилось: неужели они вернулись? Когда ты пишешь – это не самое приятное чувство, тебе плохо.

И – все. На следующий день все мертво, уже ничего не пришло.

А улицы остались.

Когда ты поэт, у тебя есть два состояния. Первое – ты пишешь и мучаешься. Второе – когда стихи уже написаны, ты ждешь, придут ли они снова. Ты не совсем человек. Ты живешь в вечном ожидании прихода стихов. Был такой писатель Андре Жид. И когда лет в 60–70 он стал импотентом, написал: «Я счастлив. всю жизнь я скакал на скакуне и теперь наконец с него слез». Так и я: в какие-то моменты своей жизни я рад, что слез с этого скакуна, поэзии. Я стал жить.

И глотать пространство и воздух.

Искать надписи.

Оказалось, кто-то пишет на стенах мои стихи. А кто-то просто что-то рисует. Или пишет какую-то странность.

И тогда мои коллекции этих надписей на стенах домов и разные сиюминутные сюжеты стали превращаться в эссе. Иногда они были злободневные, но потом я заметил, что зло-

бодневные темы, с которых я начал писать, не могут сравниться с обычными историями из жизни, которые были куда причудливей и интересней и стали складываться в узор, который я сам до конца не мог сперва разгадать. А потом раз – щелчок. И все становится на свои места. И текст живет. Он живой. В общем, на темы актуальные оказалось писать не так интересно, как самому находить сюжет, который потом начинает существовать рядом.

Это не может заменить стихи, но может дать другой способ существования. В прозе. Или в мимикрии под нее. Потому что на самом деле стихи – это тот же узор веток на асфальте, те же безумцы, встреченные на улице, те же оговорки пространства и времени.

Мир куда сложнее, чем мы себе в нашем упрямстве разрешили знать. Мир куда больше наших рифмованных строк.

Иногда что-то главное проваливается мимо них.

И я бы хотел это все, провалившееся, вытянуть.

Вытянуть обратно.

Вот я и тяну.

*Эссе публиковались в «Газете. Ru», millionaire.ru, carnegie.ru, журналах «Сноб», *Story*, «Русская жизнь».*

Воденников в стране

Россия как тело

– Ты – моя Родина, а я – твой народ. Нет у меня другого дома, кроме рук твоих, нет у меня полей других, кроме твоей груди. И вообще, ты пахнешь яблоками, – говорит.

– Че? – переспрашивает Родина, приставляя ладошку к уху (лодочкой) и делая губы уточкой (потому что маразм). – Ты со мной сейчас разговариваешь?

– Ро-ди-на ты моя! – орет на ухо. – А я – тво-ой на-р-о-о-о-д! Люблю тебя, говорю. И нет у меня других полей, кроме твоей груди, и твоих рек! Яблоками ты пахнешь, старая дрянь!

– А, – удовлетворенно выдыхает «родина» и идет пить кефир.

Потому что это она уже слышала. Не единожды.

...Идет гвардеец, как на битву.

Судьба дрожит, манит – иди!

Шагает он, творя молитву,

И вот – мерцанье впереди.

Она! И третий глаз качнулся из рубина —

«Войди», – ему сказала Катерина.

(Елена Швари, «В отставке»)

...Сто лет назад сидели на кухне пять человек. Одна супружеская пара и трое – так, одиночки, на данный трагический момент – непарные шелкопряды. И зашел разговор о том, может ли кто-то из любящих (все почему-то имели в виду не себя, а партнера, далекого или близкого), как гоголевский Андрий, предать родину во имя любви (читай «нас»).

Саша сразу сказал Свете, что мог бы. Света сидит довольная, а мы с Настей обиделись. Но виду не показали. А Рома и обижаться не стал: сидит, чаек попивает, потому что знает, что дальше будет. И чем все это для него кончится.

И, надо сказать, не ошибся.

Кисло поулыбавшись Светиной победе, стали мы все срочно названивать (каждый по своему заветному номеру), чтобы узнать, как там дело обстоит с предательством родины. И Рому заставили.

Настя в трубку что-то щебечет, аж раскраснелась вся. Видимо, там, на другом конце, торгуются. Не сразу родину предают.

Рома вообще не дозвонился. Сидит, печальный такой, табуретку ковыряет. А чего ему еще делать: больше некому ему звонить-то. Лузер он.

А я еще и вопрос до конца не сформулировал, а мне уже так четко, по-военному: «Да. Потому что ты – моя родина. А я – твой народ».

Сомлел я.

...И увидел потом (катится, катится наливное яблочко по синей волшебной тарелочке), как выходит – еще несколько сот лет назад – родина в узких, только что надетых джинсах из ванной. Застегивает тесную рубашку – и смотрит внимательно на свое лицо в вертикальное коридорное зеркало. И всего-то Родине – шестнадцать лет. И тело ее скользит. И сила бурлит. И на сгибе руки – синяк. И живот плоский. И вроде радоваться Родина должна, что так ее народ любит. Но почему-то не радуется. Потому что тайна в ней, несомненно, есть, а вот смысла – нет.

Потому что Родине во снах все что-то другое мерещилось. Не такое привычное владычество, не такое простое обладание, не партнерство, а нечто не имеющее ни собственности, ни желания, ни надежды.

Какое-то иное слияние. Иная власть.

А тут ходят, топчут ботинками, пашут и сеют, мнут в постели, рвут на части, ведут войну ради целостности территории. Целуют пупок.

– Может, поменять – народ? – думает.

А в зеркале на лице как будто слои дwoятся, как счетчик в такси накручивается: 17, 19, 21, 25, 30.

И народу меж тем все прибывает.

Многонациональная она... Наша Родина.

...Зрачок сиял, тяжелый, как держава,

И в униженьи оживала слава,
И, как страна, она внизу лежала,
Ее уж не скрывало одеяло,
Завивы вены как изгиб реки,
Как рыбой полный серебристый Дон,
Урал пересекал ее ладонь,
Алмазные струились позвонки,
Торчали зубы острою короной.
Империя ли может быть влюбленной,
И можно ли обнять страну,
Обнявши женщину одну?

(Елена Шварц, «В отставке»)

И тогда становится многое понятным.

Например, что твоя родина – андрогин. И сначала носящая мужское имя – она вела себя соответствующе, а отказавшаяся от слова «Союз», опять превратилась в женщину. И это тебе нравится больше, потому что женщине привычнее оставаться одной. И ничего не ждать.

Или – про горько-сладкую примесь вечного рабства в крови. Готовность на унижение. И готовность избежать унижения даже ценою смерти. Но это как уж получится: может, откажусь и умру, а может, и поцелую господскую руку. И тоже умру. Какая разница.

Что воля, что неволя, все равно. Привычка быть крепостным.

И тогда жест Емельяна Пугачева, которого ударили перед

казню, а он упал на колени и стал целовать руку ударившую (а ведь был царь, какой-никакой, пусть и самоназванный), не вызывает отторжения. Ну и я, быть может, поцеловал бы.

Откуда мы знаем, какие горизонты тут открываются, когда сейчас тебя четвертуют? И какую трещину на помосте Пугачев рассматривал, когда упал, и как ему это все далеко стало. Может, он действительно прощения просил? Или прощал?

Сначала я страну, как петух курицу, потоптал, теперь ты – меня.

(...что воля, что неволя, все равно...)

И в этом смысле европейская склонность играть в бесстрашие (держать лицо) даже на плахе – смотрится какой-то карнавальной чепуховиной. Сейчас тебя на колени поставят, на круге распнут и на куски порежут, а ты тут как в театре. С высоко поднятой головой. При жизни, что ли, не наигрался? Впереди – Бог, а тут – раскрасневшиеся уроды. Пирожками торгуют. Неужели тебе действительно так интересны эти люди, которые пришли посмотреть, как будут тебя убивать?

И тут почему-то сразу вспоминается, как встретились свобода и родина в истории повторной травли Зоценко... Когда аккуратные английские студенты приехали вопрошать у него и Ахматовой, при уже расслабившейся власти: согласны ли они, теперешние, затравленные и освистанные, с постановлением?

«Как я могу быть согласен с тем, что я подонок и сви-

нья?» – сказал честный Зоценко, веривший словам. Студенты возликовали. И травля возобновилась. «Согласны ли вы с тем, что вы полублудница и полумонахиня?» – между строк спросили Ахматову умные благополучные студенты.

«Я полностью согласна с постановлением», – четко и громко произнесла Ахматова. И каким-то странным образом – выиграла. Не тогда, не сейчас, а вообще. Неслучайно – «государыня Анна». И опять – самозванных кровей. Ибо это и есть – сомнамбулическая честность. И дело тут не в гордыне, не в желании избежать гибели или спасти сына (мне кажется, она и без всякого страха за сына и самого сына так бы сказала). И уж точно не в чувстве слова. А в том, что Ахматова умела быть родиной, а мужчина Зоценко – нет. Попытался доказать. Чтоб все по-людски. А какое тут по-людски? Сначала ты потопчешь меня, потом я тебя. «...И мы мелем, и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах. <...> Но ложимся в нее и становимся ею, оттого и зовем так свободно – своею».

Ибо слова ничего не значат, и жест ничего не значит, и позора нет. Позор – он в головах. Да, я – полумонахиня, полублудница. А разве нет? (Что воля, что неволя, все равно.)

Ответ Ахматовой восхищает.

И если медленно продолжить
Ее раздвинутые ноги
(О ты – завершие равнин?) —
То под одной пятой – Варшава,

А под другою – Сахалин.

(Елена Шварц. «В отставке»)

...А потом народ – все равно – начинает уходить.

И по мере ухода (истечения) народов тайны все убавлялось (кому нужна сновидящая империя?), а смысл – все прибавлялся.

Самый главный смысл, который родина извлекла, когда уже ушли рижане, эстонцы, грузины, украинцы и даже белорусы, – что ей на самом деле никто не нужен.

Нет, конечно, ничего плохого, если будет возиться посередке, копать свою мелкую смешную грядку какой-нибудь невнятный русский мужик в трениках, но и без него можно обойтись.

В принципе, тут нужен ядерный гриб, – думала родина иногда.

Чтобы никто не грабил меня грабельками, не рыхлил своей маломощной мотыжкой, не растил на мне огурцы и помидоры, не расчесывал газонокосилкой (*Stiga Collector 46*), не строил концерны, не целовал меня в живот, не грозил мне международными санкциями, не мешал видеть сны.

А сны как раз стали огромными, долгими и длительными, как реки.

Потому что —

...гостиница, каких, должно быть, много,
Я расплатилась, кошелек мой невесом,

Поежишься пред дальнею дорогой,
При выходе разденут – вот и все.
И упадешь ты – легкий, бездыханный —
В своих прабабок и приложишься к цветам,
Тропою темною, знакомою, туманной
Все ближе, ближе – к быстрым голосам...

(Елена Швари. «Гостиница Мондхэль»)

А если уж пошли такие дела, то смирись: она не делает вид, а на самом деле безразлична к тебе. Потому что только равнодушная к тебе Родина обретает смысл. Перецелованная и покоцанная наискосок и вдоль, лишенная всякой тайны, сильно подсохшая или, наоборот, пополневшая, склонная к периодическим истерикам и туманным поступкам, могущая тебе уступить или ударить, она лежит под тобой и мерцает. Переливаясь лицом. И даже не понять, сколько ей: шесть, тридцать девять или она – это просто я.

Это я лежу под тобой, дорогой русский бог.

Кстати, я давно хотел сказать. Все самые стыдные слова, которые про меня и тебя наплели, – чистая правда. Мы отнекиваемся или молчим, но знаем, что все это так: мы это видели во сне, а позорные и сладкие сны врать не умеют.

Значит, говорил, что нет других полей для тебя, кроме моей осенней груди?

Нет других рек для тебя, кроме моих набухших проступающих вен?

И пахну я яблоками?

Ну так что, козленочек, хочешь еще прижаться ко мне? В последний раз?

– Хочу.

Бритвы древних славян

Однажды ночью мне снился сон, в котором все так на меня кричали, что в ужасе я проснулся.

А потом я опять опозорил Россию.

Неделю назад, в пятницу, я прилетел к своей подруге в Германию, в маленький провинциальный город, и, надо сказать, не взял с собой бритвы. Поэтому, даже не заезжая в дом, мы поехали в большой супермаркет.

И тут опять встретились Россия и Европа. Россию представлял я.

Выяснилось, что завтра в Германии праздник – День объединения, а в воскресенье магазины у них вообще не работают. Поэтому за час до закрытия супермаркета там случилось вавилонское столпотворение. Все стоят со своими тележками на кассу, а у меня – ни станка, ни бритвы.

Долго мы бегали по торговому залу. Набрали продуктов, нашли пену, нашли шампунь. А бритвы нет. Тут, на нашу удачу, встречается нам знакомый немец. Он узнал меня, обрадовался, говорит: «Помню ваше выступление, как вы нам свои эссе читали!»

Но мне уже не до эссе. Я руками пассы делаю, волнуюсь, говорю: «*Where is the* бритва?»

Он воодушевился, что может русскому эссеисту помочь. Бегаем по залу уже втроем. Все нашли, а бритвы нет. Я уже

трясусь, весь побелел от ярости. Говорю своей подруге: «Вообще у нас на Руси-матушке бритвы на кассе продаются. Или ближе к ней, чтобы не успели, значит, припереть».

И вот мы тележку с продуктами бросили, через очередь пробиваемся, говорим: «Нам только бритву взять». Немцы понимающе кивают, пропускают нас. Отсекают лишнее. Действует все-таки одноименное правило Оккамы (не путать с Обамой!).

И не обманула меня моя интуиция. Там, у кассы, целый стеллаж стоит: и такие, и сякие, и даже с тройным лезвием.

Моя подруга и немец мой ручками бритвы перебирают, по-своему, по-бусурмански, лопочут. 10 секунд лопочут, 20 секунд, минуту. И тут я как рывкну: «Сколько можно? Вы же не флаг над Рейхстагом выбираете!»

И тут такая тишина в торговом зале наступила, что я аж покраснел. В обратную сторону. Достал тогда я два флажка: России и Евросоюза. Машу ими, говорю: «Россия и Евросоюз – братья навек!»

Короче говоря, замяли мы кое-как международный конфликт.

Но в душу мне эта история запала.

...Недавно я читал текст одного нашего бывшего соотечественника, который теперь живет в Израиле. И, в частности, этот дяденька говорил о том, что, хорошо зная родной русский и выученный иврит, он получает информацию и в жизни, и в СМИ, и в социальных сетях на двух языках. И вот

пришел он к неутешительному выводу, что, по его субъективному мнению, русский язык отравлен.

И неважно, кто пишет и о чем, но «почти все, что пишется на русском русскоязычными людьми – везде, в России, в Украине, в Европе, Америке и Израиле, – заряжено чрезмерной агрессией и нервозностью». В этом равны правые и левые, либералы и патриоты, верующие и атеисты, геи и гомофобы – «все, что по-русски, на порядок злее, безумнее, агрессивнее, чем на иврите, например».

Расстроился я. Не нравится мне, когда так про Россию говорят. Но тут же вспомнил я свою личную поучительную историю, произошедшую со мной как раз в самом сердце России. То бишь в Воронеже. Привезли меня туда опять-таки читать мои незабвенные эссе и колонки из «Газеты. Ру». Организатором моих гастролей был по совместительству местный краевед. И вот говорит он мне: «Дмитрий Борисович, не хотите ли посмотреть на стоянку древних славян?» – «Хочу!» – отвечаю я, кутаясь в соболя.

Тогда он повез меня в зимний лес, где под ногами то там то сям, припорошенные нашим среднерусским снегом, скрипели от мороза небольшие холмики. Я озяб, трепетал на ветру, но никаких стоянок древних славян не видел.

«Ну, так где же они, Александр?!» – воскликнул я, хотя звали его совсем не Александр.

«А вы сейчас на них стоите, Дмитрий Борисович!» – ответил он.

Тут и выяснился прискорбный факт. Что древние славяне, наши пращуры и пращурки, жили в землянках. И стоял я как раз на крыше одной из них.

И подумал я тогда с грустью, что, когда мы все вышли из Африки и стали заселять Землю, каждое племя выбирало место получше. Самые древние греки поселились в благословенной Элладе. Предтечи итальянцев вышли к берегам Тибра. Мы же уходили от Африки все дальше и дальше и, чтобы ни с кем не разговаривать, ни с кем не общаться, в конце концов мрачно осели в стеклянном от холода воронежском лесу, хотя и Воронежа никакого еще не было.

Мы просто не туда вышли. Не в ту сторону, не в те края.

Мы ошиблись широтой. И от этого мы еще более угрюмы, недоверчивы и пугливы.

И даже бритвы не можем купить. Чтобы не затрепетать от нахлынувших на нас несговорчивых славянских чувств.

Да и зачем!

Выползешь из землянки, подынешься во весь рост, поскребешь свою небритую бороду и завоешь на луну. А вдали только волк ответит тебе: «Воу! Воу!» Погрозишь ему, невидимому, кулаком. И обратно в землянку. Спать.

Вот и расцвел на нашей ледяной почве, где шесть месяцев зима, дикий, колючий и невзрачный цветок нашей невзрачности (моей-то уж точно). А советское время заразило нас еще больше. Мало того, что в царской России укоренились забитость и вечная униженность маленького человека, с мерт-

выми душами в филькиной грамоте и с пустыми карманами в гоголевской шинели, и поэтому русский мат давал народу иллюзию хоть какой-то свободы. Так вдобавок еще и при советской власти нас лишили всех индивидуальных черт, и стали мы отныне только «товарищами» и «гражданками».

А потом и еще хуже. Если вы обратили внимание, после падения режима мы стали вообще безымянны. Ни «месье», ни «мадам» к другому человеку не обратишься (да уж какие вы месье!). Ни «сударь», ни «сударыня» не скажешь.

А только и остались у нас «мужчина» и «женщина», по половому признаку, как в собачьем питомнике. Ну и вечная «девушка». До гроба.

В свое время Набоков написал, что его мать, когда он заболел ангиной или гриппом и кожа его на веках становилась прозрачной, а лоб – горячим от температуры, переходила с ним на «вы», словно хрупкое «ты» не могло бы выдержать груза ее обожания.

Господи, какая чудесная формулировка: «груз обожания»! А что мы можем предложить тем людям, которых любим и о которых беспокоимся? Ты моя кошечка, мой песик, мой цветочек?

...В общем, бритву я купил.

Вагон набирает ход

Есть такой знаменитый мысленный эксперимент.

Испытуемым предлагается представить тяжелый, груженный песком или гравием, сорвавшийся с тормозов железнодорожный вагон, который несется на полной скорости по наклонным рельсам, и существует всего два рукава, куда его можно направить с помощью переведенной стрелки. Стрелочником назначаетесь вы. На первом пути стоят дети, на втором – взрослые люди. У стрелочника есть выбор, куда именно будет отправлена контролируемая только твоим решением чужая смерть.

Почти все проходящие этот эксперимент выбирают направить вагон на взрослых. «Внутреннему человеку» это кажется страшным, но объяснимым. Надо спасать детей. Это естественно. Такое решение записано у нас на подкорке.

Но не подкоркой единой жив человек.

На следующем этапе условия усложняются. Ну, скажем, в одном железнодорожном рукаве заигрались школьники, а на втором расположились инвалиды. И ты опять должен выбирать. Здесь среди испытуемых уже нет такого завидного единодушия. Каждый выбирает свое. Кому-то жальче подростков, кому-то инвалидов. (Да-да, это жестокий эксперимент, а я разве не предупредил? Ну извините!)

Но самое интересное начинается после.

На одной из стадий этого психологического опыта (после всевозможных версий) измученному мысленными убийствами стрелочнику предлагается неожиданно всплывший бонус.

Выясняется, что на железнодорожном мосту как раз над местом скорой будущей трагедии сидит ничего не подозревающий толстяк. Просто так сидит, ничего не делает. К примеру, только посвистывает. Или читает в «Газете. Ру» мою прекрасную колонку.

И вводится условие, что если его сбросить прямо сейчас на рельсы, то он только одним своим весом будет в состоянии остановить несущийся на полных парах вагон, и обреченные дети и взрослые будут спасены.

А взрослых много. И детей много. А подростков еще больше.

И вот они толпятся в конце пути, галдят, даже не зная, что им уготовано. Смеются, жуют пряники, обмениваются эсэмэсками.

А отцепившийся вагон уже набрал ход.

А цена вопроса – всего одна человеческая жизнь.

Какого-то толстяка!

И вот тут-то и становится очевидным поразительное.

А именно то, что почти никто не готов принести в жертву этого никому не нужного разжиревшего легкомысленного дурака.

Хотя, может, он и не очень привлекательный и мог бы дер-

жать себя в руках и не жрать так много, а может даже, он подлец такой и изменяет жене, да и вообще, чего он тут расселся? Но все равно никто не готов.

Потому что ни в чем не повинный человек не может быть принесен в жертву. Ни ради чего. Вот такой, понимаешь, труднопереступаемый внутренний нравственный закон. Который тоже, как выясняется, записан у нас все на той же подкорке.

Но, оказывается, не в России.

У нас же свой путь. И своя гордость. Своя подкорка. И скрепы – свои.

Приволокут ничего не подозревающего толстяка. Посадят на мост. Заставят подозревать (чтоб помучился перед смертью). И потом сбросят.

Шоумен и священник (кстати, мне одному это кажется диким?) Иван Охлобыстин то ли троллит публику, то ли говорит всерьез, когда утверждает в своем теперь уже знаменитом выступлении, что геев надо заживо сжигать в печах. Тут прекрасно все: и традиция сжигать первых христиан в тех же печах, о чем священник Иван Охлобыстин не может не знать, и отсылка к газовым камерам Третьего рейха.

И никому не стыдно. Включая Охлобыстина.

А достопочтенная публика, обсуждая это яркое событие, в лице одного режиссера (к которому я отношусь с большим уважением), в частности, замечает: «Какая может быть в народе ненависть к геям? Когда весь шоу-бизнес у нас такой и

ничего не скрывает! И никто их не преследует».

Как будто вышеуказанная достопочтенная публика не знает, как у нас относятся в народе к телезнаменитостям. Естественно, не преследует. Наш народ и цирк уродов не стал бы преследовать. Потому что за людей их не держит. А вот соседу Ивану Н. и Павлу С. – не простит. И женщинам Марии М. и Александре У. – тоже.

У отличного поэта Линор Горалик есть стихотворение.

Про то, как над вполне сказочными зайчиком и волчком восходит на первый взгляд вполне невинная звездочка. Как они лежат в ночной норе, прижимаются друг к другу и чувствуют своим звериным чутьем, что наступают им, извините, кранты. А звездочка эта – то ли знамение будущих скорых бед, то ли уже просто и явно приблизившаяся планета Меланхолия. (И еще – только сейчас подумал: а что, если это отсылка не только к астрономическому явлению, но и к вполне конкретной желтой звезде, которую заставляли носить евреев в нацистской Германии?)

И говорит зайчик волчку:

«Се, – говорил он, – и адских нор глубина
рядом с тобой не пугает меня.

И на что мне Его дары,
когда здесь, в норе,
я лежу меж твоих ушей?

И на что мне заботиться о душе?

Меж твоих зубов нет бессмертной моей души».

И волчок просыпался, зубами касался его души. Лежал, никуда не шел.

Так они лежали, и их короны лежали,
и они прядали ушами, надеялись и не дышали,
никуда не шли, ничего не несли, никого
не провозглашали
и мечтали, чтоб время не проходило,
чтобы ничего не происходило, —
но над небом звездочка восходила.
Но проклятая звездочка восходила.

Мы все умрем. И ты, и я, и невинный стрелочник, и маленькие дети на пути номер раз, и никому не нужные взрослые люди на пути номер два.

И даже вы, которые думают, что к вам это не относится (не беспокойтесь, рано или поздно придут и за вами – так всегда бывает).

Мы все захлебнемся жаром, заживо замурованные в пышущих нацистских печках.

Мы все будем гореть, как яркая рождественская елка, с пятиконечной, шестиконечной и сколько-там-их-есть-конечной розовой звездой на голове.

И священник Иван Охлобыстин будет подгрести для нас угольки. Чтобы ярче горело. Даже не сомневайтесь.

Встретимся в печи!

Камешек под майонезом

Поговорим о том, что вам понятно.

Поговорим о еде.

Однажды я был приглашен на «Серебряный дождь», чтобы почитать свои эссе (я же эссеист). И вот только я отряхнул свои растрепанные нарциссические лепестки и взбил свое жабо, как сразу же попал в переплет.

Уж не знаю, зачем я это ляпнул (наверное, для какой-то развернутой метафоры), но в определенный момент чинного эфира я сказал: «Это так же пошло, как, например, запекать майонез. Потому что ничего под майонезом запекать нельзя. Это холодный соус. При запекании он расслаивается. На воду и жир».

Лучше бы, честно скажу, расслоился я сам.

Ибо тут и пришли мои 15 минут обещанной славы.

Телефоны раскалились, и даже женщина-оператор за стеклом (мне потом рассказали) возмутилась: как это нельзя? Я под ним всегда курочку запекаю! А что, вкусно!

И хотя эфир длился всего час, в конце его меня были вынуждены выводить через черный ход. Потому что маленькие любители поэзии и «Серебряного дождя» примчались на своих машинах из ближайшего Подмосковья, обступили подъезд, трясут плакатами, кричат: «Убирайся в свой Израиль! Тут вам не Евросодом! У нас тут скрепы! Печеный май-

онез – наше все! Хочу, чтоб нЭжно! Куриные грудки – тушить не меньше шести часов!»

Еле вырвался.

А теперь следите за руками. Вам сначала это будет непонятно, к чему тут дальнейшее, но потом все прояснится. Не бойтесь! Никто не уйдет не обиженным.

Когда выпустили из тюрьмы участниц *Pussy Riot*, не дремлющая ни одним глазком прогрессивная общественность моментально возмутилась: что ж они, дряни такие, не сразу к детям-то своим бросились? Ишь как они медийно заточены. Правильно им «двушечку» дали. У них на уме один пиар. Да и вообще, там какой-то камешек на зубах хрустит. Гранитный. А надо чтоб нЭжно!

Когда возникла неприятная история с театром Кирилла Серебренникова, где он опять-таки хотел показать новый документальный фильм про тех же *Pussy Riot*, а ему мягко это запретили, – прогрессивная общественность (уже в других лицах) подвела итог: а что он хотел? Ему будут давать театр, а он будет думать, что может делать то, что хочет? Не пройдет!

(Это, кстати, мне напомнило фразу Ахматовой про Надежду Яковлевну Мандельштам, вдову поэта, и про ее «Вторую книгу», жестокую и разоблачающую: «А что она думала? Что она будет писать ТАКИЕ книги, а ей будут за это квартиры давать?» Ну, так это Ахматова, не мы, и времена там были страшные, и книга великая. Не в пример нашим

временам и нашим книгам. И тем не менее. Параллель показательная.)

Ну а уж когда давным-давно Антон Красовский сделал свой каминг-аут в прямом эфире и его сразу же уволили с работы, первое, что я прочел в блоге уважаемого мною независимого продюсера музыкального портала, было: «Ну так Антон сам должен был понимать, где он работает. И думать раньше».

Я не спорю.

Может быть, и должен был. Может быть, и надо было сразу к детям. Может быть, любишь театры получать, люби и саночки возить.

Но, честно говоря, мне это кажется гадким.

Это как привычные обвинения не насильника (ну он же мужик, что с него взять!), а жертвы. Сама виновата! Не так оделась! Не так улыбалась! И зачем пошла вечером? И зачем только что познакомившись? И зачем в лифт? А почему не в валенках и в тулупе, а в мини-юбке и еще сажай лицо не намазала?

Разумеется, виноваты жертвы. Не Капков, а Серебренников. Не гомофобное общество, а Антон Красовский, который, по мнению закаленных бойцов кулинарного фронта, просто не умеет держать себя в руках. Не судебная система, которая упрятала матерей на два года в тюрьму, а сами девушки из *Pussy Riot*, которые не сразу поехали к детям. А когда приехали – еще и фотографировались с ними. Совсем

стыд потеряли. (Да-да, я и такое читал.)

Они-они виноваты, не мы.

Вот уж где печеный майонез!

Самый жир.

Фет, плюющий на Университет

Афанасий Фет очень любил плевать на Университет.

Вот едет он по Москве, стишок сочиняет, увидит вдруг знакомое здание, велит кучеру остановиться, откроет окно кареты, плюнет (слюна так далеко не долетит, упадет на круглую московскую землю, спугнет галку), вытрет варежкой рот, крикнет кучеру «Пшел!» – и едет дальше, довольный.

Ну был у него в его поэтическом запасе такой символический жест. Нам ли осуждать певца «Вечерних огней»? Не нам! Вот и близко его знавшие тоже не осуждали.

«Чудит барин! – скажет кучер на кухне, попивая чай из блюдечка. – Опять на университет плюнул! Неспроста!» – «Да уж, наверное, есть за что!» – ответит кухарка Дарья.

И, как всегда, окажется права.

Да, Афанасий Афанасьевич не любил либералов, не любил Университет, хотя там и проучился шесть лет, и вообще не любил демократии.

И ему было за что ее не любить.

Дело в том, что Афанасий Афанасьевич был посмешищем. В глазах молодых, новых, прогрессивных и, надо сказать, не очень чутких на ухо современников. Полжизни промучившийся как рожденный до брака с фамилией Фёт (да-да, это была еще и ё), желавший вернуть себе потомственную фамилию Шеншин, Афанасий Афанасьевич не был це-

ним прогрессивной критикой.

В год своего семидесятилетия Фет напишет стихотворение «На качелях», которое, конечно же, гениально.

Вот оно.

И опять в полусвете ночном
Средь веревок, натянутых туго,
На доске этой шаткой вдвоем
Мы стоим и бросаем друг друга.

И, чем ближе к вершине лесной,
Чем страшнее стоять и держаться,
Тем отрадней взлетать над землей
И одним к небесам приближаться.

Правда, это игра, и притом
Может выйти игра роковая,
Но и жизнью играть нам вдвоем. —
Это счастье, моя дорогая.

На что и получит в печатном виде от язвительного Виктора Буренина (кстати, сочинившего прочувствованное стихотворение на гражданскую казнь Чернышевского) дословно следующее: «Представьте себе семидесятилетнего старца и его «дорогую», «бросающих друг друга» на шаткой доске. Как не обеспокоиться за то, что их игра может действительно оказаться роковой и окончиться неблагоприятно для разыгравшихся старичков!»

Расстроенный Фет пожалуется Полонскому: «Сорок лет тому назад я качался на качелях с девушкой, стоя на доске, и платье ее трещало от ветра, а через сорок лет она попала в стихотворение, и шуты гороховые упрекают меня, зачем я с Марией Петровной качаюсь».

Но в партере уже безостановочно шикали. А некоторые, особо равнодушные, уже встали и шли в буфет. Зал катастрофически пустел.

Но больше всего расстроил Афанасия Афанасьевича писатель Федор Достоевский. Тот написал о нашумевшем (во всех смыслах) лиссабонском землетрясении и спросил с присущей ему обостренной нервностью: что, дескать, делать с португальским поэтом, напечатавшим в эти роковые дни что-нибудь вроде следующего: «Шепот, робкое дыханье, трели соловья»?

И сам же ответил: «Через сорок лет – памятник. А сейчас? А сейчас – казнить!»

И Афанасия Афанасьевича казнили. Попросту забыв.

Ну, бегают там какой-то малахольный душитель свобод, прижимистый кулак и крепостник, распекает работника Семена, из-за которого он потерял 11 рублей, и проклинает мужиков, гуси которых зашли в его, сатрапа и осколка прошлого, пшеницу. Гуси-гуси, га-га-га! Жаль, что только гуси, надо было ему туда еще и свинью подложить!

К слову сказать, об этих своих хозяйственных подвигах Афанасий Афанасьевич сам писал в ненавидимый всей про-

грессивной российской интеллигенцией журнал Каткова, в скучный и консервативный «Русский вестник». Как будто желая подставиться еще больше. И это в тот момент, когда все русское общество ликовало по поводу наконец-то отмененного в России крепостного права!

То «Шепот, робкое дыханье» в разгар лиссабонского землетрясения, то гуси – в момент освобождения крестьян. Умел Афанасий Афанасьевич быть своевременным! Этого у него не отнять.

Но отняли и это.

Последним бастионом был Лев Толстой, долгие годы Фета поддерживавший. Но теперь он, увлеченный своими новыми идеями, постепенно начинает внутренне отстраняться, а потом и вовсе заявляет в дневниках, что ему надоела его, Фетова, болтовня. Переписка, длившаяся несколько десятилетий, иссякла. Теперь уже Фет бесповоротно один.

Но не знал Афанасий Афанасьевич, что однажды его времена вернутся! Что слово «либерал» станет ругательным. Желание поступиться свободами – приемлемым. Право на личное мнение – сомнительным.

И вот огромный, раздувшийся Афанасий Шеншин садится в гигантскую карету, едет ярко освещенными улицами Москвы, останавливается возле Университета, открывает окно и смачно плюет в его сторону. И попадает.

Это я все к чему?

А вот к чему!

Мы сейчас часто ведем себя как Фет, плюющий на свой Университет.

Зловредство и сиротство

Слышали ли вы новость? Курение на летних площадках ресторанов запрещено, если они имеют пол или навес. Так решил Роспотребнадзор.

В Париже, значит, курить на террасе можно, а вот в России, где есть Роспотребнадзор, нельзя. В Риме, где, куда ни плюнь, везде кватроченто, высокое или позднее Возрождение, курить можно, а в Торжке – нет.

В Амстердаме на балконе курят не только табак, но и черт знает что, а в Петербурге девушка всего лишь вынимает сигарету из сумки, выходя из зала, где слушала «Соловья» Алябьева (не закуривает, прошу обратить внимание, а только вынимает, крутит в нежных тонких пальцах, вся бледная от перенесенного эстетического наслаждения), а на нее уже шикают, провожают возмущенными взглядами. Некоторые даже осеняют себя крестным знамением.

Неудивительно, что там, у них, все загнивает и вообще творится евросодом. А у нас, тут, где Роспотребнадзор, лепота и благочиние. Роспотребнадзор еврокурения не допустит!

Впрочем, Таможенный союз (даром что не Европа) тоже не дремлет. Дай, думает, тоже что-нибудь запрещу. Например, кружевные трусы. Запретил. Сидит, довольный. «Ваш ход, Роспотребнадзор?»

И вот Роспотребнадзор наносит параллельный удар. Кто быстрее!

Когда по интернету прокатилась волна сообщений о запрещении кружевного белья, все девушки очень перенервничали. И некоторые юноши.

После уже выяснилось, что все всё не совсем правильно поняли. И замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов объяснил нам, что никакой проблемы с женским бельем нет и откуда взялись слухи о возможном исчезновении кружевных трусов из продажи, он не понимает. Потом помолчал и добавил: «Лучше вообще хлопчатобумажные носить».

Но нам уже было все равно! Потому что вы слышали очередную новость? Нет? Ну так я вам опять расскажу! В Думе предлагают запретить продавать алкоголь по праздникам и в выходные дни. Что, выкусили? Что бы еще запретить? Таможенный союз корчится в родовых муках зависти, но ничего пока в ответ придумать не может.

Ну ничего. Мы подождем.

Дорогие Таможенный союз, Роспотребнадзор, Дума и россияне! Вы что, совсем обалдели?

Вы все хотите запретить?

Не все? Отлично! Тогда сейчас будет небольшой мысленный фортель. Но нам не привыкать. Мы все живем в мире фортелей, которые проделывают с нами. Переживете и мой.

Итак. Был такой удивительный поэт. Николай Заболоцкий. Он не только курил (а кто не курил?), но еще и сидел в

лагере. При нашей прекрасной советской власти, адепты которой очень хотят вернуть ее символы на наш флаг и в общее употребление.

Ну, сидел и сидел. Кто не сидел? Тоже мне – удивили. Дело не в этом. А в том, что, когда он вышел – после тьмы потерянных лет, совсем другим человеком, узнав что-то, чего и знать не надо (потому что еще Шаламов говорил, что лагерный опыт – это антиопыт и ничего человеку полезного дать не может), – он много рассказывал близким про свою жизнь там. За чертой.

И его рассказы были ужасны. Но говорил он про все эти нестерпимые вещи так просто, как будто говорил о ряженке или простокваше. И только в одном случае ему изменяло его привычное хладнокровие.

Он рассказывал, что иногда начальник лагеря (сытый и холеный) спрашивал у вохры пониже рангом:

– Ну что, есть у вас такой заключенный Заболоцкий?

– Есть! – отвечала вохра.

– А что? Пишет он сейчас стихи или нет?

– Не пишет! – вытянувшись по струнке, отвечали ему.

– Ну, вот и хорошо, – отвечал начальник. И, довольный, откидывался на спинку стула.

И только тогда, когда поэт Заболоцкий рассказывал про это «пишет он сейчас стихи или нет» и про это «ну, вот и хорошо», его голос наливался гневом и отвращением. И по лицу пробегала судорога.

И вот эта судорога омерзения Заболоцкого любому нормальному человеку очень понятна, а удовлетворение его начальника лагеря – нет.

Ибо что ему в том, пишет стихи зэк под таким-то номером или нет? Тебе-то, сытый, какая разница? А ответ прост.

Чистое зловредство. Удовлетворенное любопытство паука, даже не ползущего посмотреть, насколько плотно завязла бедная муха в его клейкой паутине. Он и так знает: плотно. Достаточно подергать одну нитку, и по ней придет ответный истерический сигнал, беззвучный крик, отчаянный мускульный выкрик, попытка вырваться.

– Хе-хе, – говорит паук. – Врешь, не уйдешь!

Вот и люди, которые множат и множат запреты (на чулки, на кружева, на курение в открытом пространстве, если там есть настил), испытывают, по-видимому, те же паучьи чувства. Но паука хоть как-то можно понять.

Но кроме чистого зловредства есть еще чистое сиротство.

И эти сироты – кругом. Сплошной детский дом, а не взрослый мир. Проведите эксперимент: напишите где-нибудь в интернете, что вам не нравится этот новый закон про запрет курения на верандах. И сразу придут взрослые дяди и тети, которые вам напишут, что они чихают от табака, кашляют, покрываются пятнами и что очень хорошо, что вам все запретили. Жалко, что не сожгли! Вас.

Некоторые, впрочем, пойдут дальше. Решат если не сжечь вас, то по крайней мере утопить. Ну а если не утопить, то

обрызгать.

Недавно, в струе новых запретов, некоторые прогрессивно мыслящие молодые люди, без всякого разрешения властей, но при полном попустительстве полиции, ходили рядом с вокзалами и большими магазинами и прыскали на сигареты тех, кто стоял и курил в недозволенном месте.

Тушили пожар табакокурения, так сказать. Стоит человек, курит, сигарку в кулачке зажал, к нему подошли, задали два-три необязательных вопроса, облили водой сигарету, пошли дальше. Приятно же? Приятно!

Когда еще тебе позволят поунижать людей, если не прикрывшись законом? Разрешили бы обстригать насильно, как коллаборационисток (женщин, живших с немецкими солдатами в годы оккупации Франции), и возить их на машинах по улицам Парижа, остриженных, растоптанных, бессильных что-то изменить в этом унижении, когда им глумливо, как собачкам, клали ладонь на младенчески голую голову, — то возили бы. Охотники бы нашлись.

— Кого везут?

— Курильщика!

— Молодцы! Давайте еще ему в рожу чем-нибудь плюнем! Чистой безникотиновой слюной.

Но страшно и противно даже не от этого. А от того, что находится в этой среде условных коллаборационистов человек, сразу согласный с тем, что его будут гнать, ограничивать и унижать. Вот он пишет в социальной сети: «Чем больше

меня, дурака, будут ограничивать, тем будет лучше лично для меня».

Отличная логика, не правда ли?

– Кого это там везут, остриженного налысо? С глумливой ладонью добровольного охранника на голове?

– Эссеиста Воденникова! Он курил в неподобающем месте!

– Отлично! Давайте еще пойдём и плюнём в него. Чтоб курить было не повадно. Потому что если мы не плюнём в беззащитного человека – у нас опять разовьются астма, аллергия, пятна и какой-то особенно загадочный в наших широтах тропический ленточный червь.

Какие же вы все-таки лапочки, господа!

Не спать

Однажды один петербургский житель (а это еще был самый настоящий Петербург, не чета нынешнему) ехал на извозчике по городу из точки А в точку Б (положим, с Выборгской стороны на Васильевский). И все его путешествие заняло в общей сложности минут сорок.

Когда он приехал к своему духовному учителю (с которым впоследствии провел больше десяти лет и даже написал про него книгу «В поисках чудесного», хотя к тому времени и слегка разочаровался в своем наставнике), этот странный, восточной внешности человек с усами спросил приехавшего:

– А расскажите мне, что вы видели, когда ехали на извозчике?

– То есть? – переспросил приехавший.

– Ну, что вы видели по дороге? Какие люди вам встретились? Менялась ли погода? Видели ли вы по пути кота? Где извозчик поворачивал?

И в этот момент Петр Успенский (а это был именно он) осознал, что он всю дорогу «спал». То есть не клюкал носом в самом вульгарном смысле этого слова, а просто не был «осознанным».

Потому что быть осознанным – это значит помнить каждое свое действие, в том числе и чисто механическое. Вот, например, когда вы чистите зубы, вы думаете о чем угодно,

только не о щетке и не о зубах. Вы думаете: «Что мне сегодня надеть?», «Что мне вчера сказала эта дрянь Маргарита Николаева?», «Уволят ли меня в этом году?», «Господи, когда же я уже умру!» – да мало ли о чем вы можете думать! А щетка тем временем сама собой вжикает по вашим белоснежным зубам, и, даже сплевывая пасту, вы не осознаете, что вы сплевываете.

В этот момент вы «спите».

Даже сейчас, когда вы читаете эту колонку, вы, вполне вероятно, спите наяву. И поэтому читаете не то, что тут написано, а то, что вам кажется, что тут написано. Поэтому соберитесь. Але!

(Это был щелчок по носу, чтоб вы проснулись. А теперь продолжим.)

Считается, что его учитель (давайте уже положим все карты на стол: это был Георгий Иванович Гурджиев) представлял собой всего лишь великолепного мошенника, умевшего манипулировать людьми. Но сама эта идея «не спать, когда ты бодрствуешь» мне показалась удачной. И помогающей. И вот уже лет семь я практикую одну и ту же сложную вещь. Я отслеживаю себя.

Когда я иду по улице и на меня вдруг накатывает отчаяние, я просто фиксирую: «Я чувствую отчаяние». И – странная вещь! – как только я отслеживаю это состояние, я сразу замечаю, что цвет моего внутреннего скукоживающегося мира меняется. Он становится не серым, а розовым. Оказы-

вається, що моя внутрішня серцевина на самому ділі вповне байдужа. Психує і злиться тільки її верхнє об'лако. Але і це ще не все.

Надо відслідкувати і саму радість, яка прийшла з цим усвідомленням. Вона теж придумана. Як тільки ти це усвідомлюєш, ти відчуваєш свій внутрішній рожевий колір (іноді здається, що це вітер) без радості і без особливого воодушевлення. Тебе не до цього. Ти просто слідиш за собою. Відслідковуєш себе, як звіра. І коли до тебе приходить сірий вітер, ти так же уважливо розглядаєш і його. Іншими словами, що є, те і розглядаєш. І саме тоді ти і стаєш вільним.

Зрозуміло, що це не працює в хвилину небезпеки. Або в хвилину сильного хвилювання. Якщо тебе б'ють, треба захищатися. Якщо на тебе біжить тигр (хоча звідки у нас тигри в середній смузі? замініть на собаку), треба бігти і ховатися. Або намагатися собаку заспокоїти.

Але дивна річ: коли ти стаєш на хвилину усвідомленим, ти розумієш, що в тебе немає зла. Ну взагалі немає. Може, і любові теж немає ні до кого, але зло відсутнє.

Але навколо цього зла достатньо.

В Києві після відомих подій на Майдані на сцену вивели бійців відряду «Беркут» і змусили їх встати на коліна. Людина – злоякісна обезьяна, йому обов'язково треба когось принизити.

Совсем недавно – с другого края войны – по Донецку провели пленных. Как видно на фотосъемке с места событий, пленные, с заложенными за спину руками, прошли колонной по проезжей части в окружении ополченцев, вооруженных винтовками со штык-ножами. Впереди шел человек с овчаркой. С тротуаров за «парадом» наблюдали местные жители, некоторые из них кричали военным: «Фашисты!»

Затем пленных рассадили по автобусам, которые штурмовало местное население, сдерживаемое конвоем. Поливальная машина демонстративно помыла асфальт после прохождения колонны. Когда зрители увидели эти машины, многие из них радостно закричали. Прямо во вмонтированные микрофоны своих мобильных кинокамер.

Но апофеоз зла пришел, как всегда, тихой сапой.

The New York Times опубликовала снимок женщины, стоящей на тротуаре рядом с одним КПП города Донецка. На голове у нее завязаны хвостики, в них воткнуты украинские флажки. Сама женщина держит в руках (ее заставили держать) плакат. Там написано: «Она убивает наших детей. Агент карателей». Обернули ее (опять же насильно) в украинский флаг.

Проезжающие на машинах люди специально выходили из машин, чтобы плюнуть в нее, ударить по лицу или бросить в нее помидором. На снимках также видно, как белокурая женщина средних лет бьет несопротивляющуюся пленницу ногой в пах. Бьет с людоедской улыбкой. Женщина, заверну-

тая во флаг, кричит от ужаса и закрыла глаза. Но это только распаляет белокурую «патриотку».

«Все, что с ней будет происходить, заслуженно», – сказал человек с автоматом, стоящий рядом.

Ну что ж, друзья мои, похоже, мы опытным путем установили, что людоедство – наше все.

Почти как Пушкин.

Кстати, о Пушкине.

Был такой поэт – Геннадий Гор. Он пережил блокаду в Ленинграде и написал самые страшные стихи в истории русской литературы.

Эдгара По нелепая улыбка,
Сервантеса неловкая походка,
Ненужная, но золотая рыбка,
Тревожная, опасная находка.
Меня убьют, я знаю, в понедельник
И бросят тут же, где и умывальник.
И будет мой убийца умываться,
И удивляться там, где целоваться,
И, умываясь, будет улыбаться.

Теперь эти улыбки мы видим со всех сторон. И нет им конца. И нет больше никакого розового ветра. Один серый.

Это и осознаем.

Пока нас самих не завернули в какой-нибудь флаг, не дали нам в руки табличку с любым удобным для одной из сторон

текстом и не залепили в нашу незащищенную голову помидором.

Потому что тогда нам будет уже не до этого.

Прыжки на ветхом мосту

Многие люди, близко подошедшие к смерти, рассказывают, что видели туннель и в конце его ослепительный свет. Точнее, сперва они видели только крошечную яркую точку, но потом она становилась все больше и больше.

– Мы мчались на огромной скорости, – рассказывает один из видевших это. – И все, что есть, было и будет, заключалось в этом излучении.

– Я чувствовала, что отделяюсь от своего тела и приближаюсь к двери, за которой смерть, – говорила другая.

Любопытно, что точно такой же свет и туннель видят пилоты на тренировках в центрифуге, когда при больших перегрузках теряют сознание. По мере того как испытуемый движется с ускорением, кровь оттекает у него от мозга и он на секунду отключается.

Ощущения, которые мы испытываем при потере сознания, почти всегда связаны с туннелем, который сходится в одной точке. Так почему сильные перегрузки и состояние, близкое к смерти, провоцируют это ощущение?

Когда мозг начинает ощущать нехватку кислорода, нейроны, которые отвечают за изображение, начинают возбуждаться хаотично. Это создает ощущение яркого света.

Многие это испытавшие говорят, что, если бы у них был выбор, они бы не стали уходить оттуда. А так бы и летели,

пока в этом свете не растворятся. Растворение вообще самая сладостная мечта человека – в другом человеке, в любимом деле, в праздничной толпе... Не на этом ли построены спортивные игры, театр, любовь и сама религия? Любая любовь, приправленная страхом, жаждет слиться с другим существом, потерять себя.

– Там концентрируется все: счастье, любовь, блаженство, – говорит еще один человек, переживший секундное отключение мозга.

Когда лица летчиков, принявших участие в испытании, показывают на экране, они светятся счастьем. Некоторые испытуемые блаженно смеются.

Подобных свидетельств об этом несколькосекундном счастье полно в интернете, в чужих устных рассказах и в научно-познавательных фильмах.

И мне нравится эта мысль, что перед смертью нас согреют и защитят. Причем так, что мы даже не захотим возвращаться назад. Но, пока мы еще живы, мы можем творить все, что угодно. Свет в конце туннеля спишет все.

Мы и творим.

В Москве на Киевском вокзале на полу мужского туалета, прямо у писсуаров, «креативно настроенные» граждане наклеили символические «звезды», по типу голливудских, с фамилиями Кортнева, Акунина, Быкова, Юрия Шевчука и других. Не только с именами, но и с лицами. И ты либо стоишь на их лицах, когда мочишься, либо стряхиваешь. На них

же. Хотя на пол стряхивать нехорошо!

Это какой-то золотой век акционизма! Куда ни плюнь (или еще чего ни сделай) – везде современное искусство. Девочки из *Pussi Riot* делали то, что делали. Мальчики с Киевского вокзала от них не отставали. Но, с другой стороны, все это – доморощенными средствами, без внимания широких масс, резонанс не тот.

А телевидению обидно! Как так? У всех бездна фантазии, а у них, людей из волшебного ящика, только Мария Петровна на ток-шоу, которую бросил Филипп Николаевич ради Аполлона Григорьевича.

– Давайте что-нибудь придумаем! – говорят они.

– Давайте! – сами же себе отвечают.

Но не просто так придумаем, а на внятном нашему народу образном языке. На христианско-символическом. Давайте распнем какого-нибудь мальчика? И чтоб «туда, где мать стояла, так никто взглянуть и не посмел!» (это Ахматова).

И вот уже есть и мать, и распятый мальчик, и все это идет по Первому каналу.

Потом, правда, выяснится, что с символизмом перестарались. И мальчика не распинали, и мать, окаменев, не стояла. Ну а че, с кем не бывает? Разве они, выпускающие редакторы, виноваты? Любит наш народ всякий символизм. С него и спрашивайте.

Кстати, о народе.

Тут недавно широко был освещен случай, когда при пере-

носе мощей святителя Николая Чудотворца в селе Лесниково Курганской области верующие решили попрыгать на мосту. Это же только в учебнике физики приводится задачка на сообразительность: почему роте солдат, идущих по мосту, командир всегда дает приказ идти не в ногу. Ну так это же учебник физики! А тут чудо! Благолепие. Понимать надо!

В общем, мост обвалился. Одна женщина сломала руку, остальные вывалились в тине. К тому же это был единственный удобный мост через речку, если не в обход. Ну да не жалко! Самое главное – соборность. Чтоб соборно попрыгали.

Но лучшее нас будет ждать, как известно, впереди.

Когда мы будем умирать и полетим, быстро набирая скорость, по длинному коридору к окошку света, нас встретят там Петр и Павел.

И спросит Петр:

– Здравствуй, Григорий! Скажи, как ты называл своего прежнего друга и гражданина когда-то бывшей единой страны?

– Колорадом, – ответит Григорий и, вероятно, попытается покраснеть. Но не сможет. Ибо у него уже не будет кожи и тела, одна душа. Вздорная выдумка. Ересь. Чистый эфир.

– А ты, Вася? Как ты, Вася, называл своего бывшего друга и гражданина когда-то единой общей страны?

– Укропом, – ответит Вася.

– Ну, тогда идите попрыгайте с Григорием на мосту. Под

ним речка – да не простая. А кипяще-смоляная. И рано или поздно этот мост под вами двоими обвалится.

Следующая станция – конец

Жил-был художник один. Домик имел и холсты. Потом его поймали и отправили в концлагерь.

У Феликса Нуссбаума (а речь именно о нем) есть картина. Называется «Автопортрет с женой Фелькой Платек».

Картина написана за два года до того, как их с женой, прячущихся от нацистов, обнаружили и с последним транспортом отправили в Освенцим (через пять недель Брюссель будет уже освобожден). Говорят, что влиятельные друзья могли помочь Феликсу Нуссбауму избежать Освенцима, но именно Фелька Платек не верила в то, что их схватят, и оттягивала побег.

На картине она изображена обнаженной, но в туфлях, а он – полуодетым, с полурасстегнутыми брюками (очень прозрачный намек) и босым. Пара держит друг друга в объятиях. И женщина наступает ногой в туфле на босую ногу мужчины, не давая ему двинуться дальше.

В общем, еврея-художника убили.

А потом его взяли и растоптали во второй раз. Уже в наши дни.

...Когда я был в Германии, в городе Оснабрюке, где как раз и устроен Музей Феликса Нуссбаума, я написал пост в злосчастном Фейсбуке про свое посещение этого музея. И туда, как бабочка на свет лампы, пришла одна моя знакомая.

К слову сказать, очень талантливая. У меня до сих пор хранится в доме ее керамика. Пришла и измерила череп. Еврейский.

– Нет гениев, – сказала она. – Нет искры божьей. Качественно, но мертво. А здание вообще ужасно.

И то правда. Нет чтобы что-то миленькое соорудили. Пряничное.

К слову сказать, здание Музея Феликса Нуссбаума в соответствии с замыслами архитектора действительно совершенно выпадает из архитектурного ансамбля маленького университетского городка Оснабрюк. Старый его центр, рядом с которым находится музей, чем-то напоминает городок в табакерке. Старинные изящные трехэтажные постройки (обещанные, пряничные). Утки крикают на почти неподвижной немецкой реке. Тенистые аллеи. Непрерывный звон церковных колоколов. Расположенный сразу за стеной Музей Феликса Нуссбаума резко контрастирует с этой фахверковой лепотой. Он какой-то гигантский бетонный безглазый ящер.

Его внутренности состоят из непропорционально высоких полостей (их трудно назвать музейными залами), стиснутых чуть ли не обрушивающимися на зрителя стенами тускло-металлического цвета. Стены кажутся голыми, несмотря на развешанные картины. Массивные двери из одной сдавленной полости в другую плохо открываются.

Настолько плохо, что в тебя закрадывается страх, что туда нельзя. Что ты замурован. Что сейчас прибежит охрана и

скажет: «Куда прешь?»»

Потом до тебя доходит. Больше всего эти пространства похожи на тюремные камеры или на коридоры, ведущие к газовой печи.

А между тем картины в первых залах совсем не соответствуют этому ощущению предсмертной напряженности. Пейзажики, жанровые сценки. Все добросовестно, но скучно. Какие-то игры в мертвые слепые слепки. В ледышки, которыми Кай в «Снежной королеве» выкладывал слово «вечность». Выкладывал-выкладывал, да так и не выложил.

А потом все изменилось.

Феликс Нуссбаум уехал из Германии в Италию как раз накануне прихода к власти Гитлера и на родину уже больше не возвращался. После короткого путешествия по Европе он остановился в Бельгии. Крушение жизни уже началось, но оно еще не было связано с непосредственной угрозой и поэтому еще не вполне осознано. Но Катастрофа уже свершилась: немцы ворвались в Бельгию, и бежать больше было некуда. На Нуссбаума была объявлена охота.

И тут появляются другие картины. Художник больше не думает о произведенном впечатлении, не рядится в маски.

Он прямо говорит о том, чего боится. А именно – унижения и смерти.

...В совершенно пустой комнате на стуле спиной к зрителю сидит человек, в отчаянии обхвативший голову руками. Рядом со стулом стоит собранный портфель. Человек готов

к уходу. Очевидно, что в этой комнате со стенами, пустыми, как слепые глазницы, оставаться нельзя. Но на таком же пустом столе стоит старый глобус – и видно, что он уже хорошо изучен, осмотрен со всех сторон. Бежать некуда.

(«Ку-ку, – как бы говорит картина. – Приехали! Следующая станция – конец».)

...Высокий и худой почти до прозрачности, бедно одетый еврейский юноша стоит на обочине пустой улицы, озаренной странным тревожным светом, падающим сзади и сверху. Это не закат – это зарево гигантских печей крематория. Это тоже конец. И никакой символики.

После оккупации немцами Бельгии и Франции Феликс Нуссбаум оказался в лагере для перемещенных лиц, из которого ему вскоре удалось бежать. Впечатления от лагеря нашли свое отражение в нескольких картинах. Все оттенки отращения, горя, отчаяния и апатии представлены в выражении лиц и в позах узников лагеря на картине 1942 года.

Им нет друг до друга никакого дела. Каждый застыл в своей муке безнадежности, и есть впечатление, что никто никого не видит. Ощущение распада и краха подчеркнуто смятым и выпотрошенным, охваченным колючей проволокой глобусом (опять этот глобус!). Без обозначения материков, одиноко торчащим на пустом столе.

Музей Нуссбаума – это история пробуждения человека к жизни на грани гибели, это обретение личностной и национальной самоидентификации в тот самый момент, когда уже

все потеряно.

Удивительно, но убили Нуссбаума поздно. В 1944-м. Когда уже шло наступление советских войск. Но машину смерти в концлагерях было не остановить. Меня поразило именно то, что, когда уже все вокруг рушится, тем не менее выполняется людоедское задание. Дело не в том, что оно людоедское, а в том, что оно бессмысленное.

Когда горит твой дом, ты все равно продолжаешь бить свою собаку. Какой-то абсурд зла.

В комментариях к посту, в котором я рассказал об этом музее и выложил фотографии, как я уже говорил, возник совершенно дикий спор, инспирированный упомянутой мной и симпатичной мне знакомой, о том, что среди евреев не было гениев.

Это было похоже на ситуацию, описанную выше.

«Национальные особенности характера придают мрачность и вымученность любому произведению. Ремесло (мастерство) на уровне, но искры божьей нет, качественно, но – мертво», – сказала она.

«Скорбное это все, надрыв не в ту сторону, не в привычную другим нациям».

«Именно гениальности не хватает в иудейском искусстве. Прочее все есть: труд вековой, деньги, протекция. Все, кроме гения».

«Интерьеры безобразны, – продолжала она (то есть те интерьеры, которые как раз должны были символизировать ту-

пики и подполье, замечу я в скобках), – но это проблема не еврейская отнюдь, а межнациональная и трансконтинентальная: современное искусство – это вообще мутная и бесталанная часто эклектика».

«А выиграть конкурс на что угодно в мире, управляемом Ротшильдами, вообще не сложно ни разу. Славянину сложно, ирландцу сложно, еврею – как к себе домой».

«А Сикстинскую капеллу им не построить!» – сказала она на прощание.

Фамилии Шагала, Ротко, Сутина, Левитана, Модильяни, Фалька и Альтмана не возымели никакого действия. Да и не могли. Потому что дело не в этом. А дело в следующем.

Ты рассказываешь о том, что человека затравили, как крысу, а к тебе приходят и рассказывают о том, что эта крыса не была гениальной.

Наш мозг – странное сооружение. Слишком много извилин, в которых достаточно места, где может поместиться темнота.

Бродский (тоже, кстати, еврей, уж извините), который так и воздвиг свою Сикстинскую капеллу в поэзии, написал однажды следующее:

Свобода —

это когда забываешь отчество у тирана,

а слюна во рту слаще халвы Ширази

и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,

ничего не каплет из голубого глаза.

Наш перекрученный мозг очень сложно устроен. И мы не знаем, где однажды утром проснемся, в каком внутреннем воображаемом концлагере. И с какой стороны колючей проволоки.

Но что-то мне подсказывает, что некоторые керамисты уже определились. С местом.

Время собирать розы

Широко известно воспоминание Ахматовой о ее гипотетическом романе с Модильяни в 10-х годах XX века, когда она приехала в Париж. Однажды, не точно договорившись, они разминулись на несколько минут и художника она не застала.

У молодой Ахматовой в руках была охапка красных роз. Окно над воротами мастерской было открыто, и она от нечего делать стала бросать туда цветы. На следующий день они встретились, Модильяни спросил, как она смогла пробраться в его квартиру, когда ключ был у него. Ахматова объяснила, как было дело.

«Не может быть, – ответил художник, – они так красиво лежали!»

В 14 году началась Первая мировая война, а в 17-м случилось то, что случилось. И больше Ахматова ни в какой Париж не ездила и никаких роз там не разбрасывала. Ей выпала другая жизнь, другие радости, другие страхи и совсем не цветочные муки. Умри она в десятых годах, никому бы и в голову не пришло, что строчку про левую перчатку на правую руку написал автор «Реквиема» и «Северных элегий». Но они – слава богу – написаны.

В 2014 году я иду по улице Москвы и вижу рекламный щит. «Вернули Крым, вернем и Москву без пробок». На пла-

кاته веселое лицо мужчины и подпись: «Шумский собирает подписи». Какой-то более радикально настроенный человек поверх стекла написал на слове «пробок» ярким маркером «чурок». Идем дальше.

На улице рядом с аптекой выставлена реклама-раскладушка. На ней написано: «Мы патриоты. У нас в продаже всегда есть лекарства отечественного производителя».

Я рад за отечественного производителя, и я вполне понимаю, что такое патриотизм. У меня никогда не было скептического отношения к этому слову. Но смысл этого жеста мне тем не менее неприятен. Вполне ясен, но неприятен.

Потому что он не о покупателях, не о производителях и не о лекарствах. Он вообще не про помощь и деньги. Его сверхсообщение – о другом.

Вице-премьер Ольга Голодец выступила как-то с заявлением, что правительство не приветствует лечение россиян за рубежом. По ее словам, Минздраву необходимо отслеживать работу благотворительных фондов, собирающих средства для такого лечения. В интернете возникла бурная полемика, и всеобщее внимание привлек к себе блогер Антон Буслов, описавший в своем Живом Журнале реалии современной российской медицины. Ольга Голодец ему позвонила, и это, судя по его второму посту, был конструктивный разговор.

Однако Антон Буслов – не единственный человек, которому нужна помощь. И всем им лично Ольга Голодец не по-

звонит. А фонды, через которые собирали деньги на больных и просящих о помощи, прижмут. Такое уже бывало.

И вот когда мы возвращаемся домой (ой, извините, когда я возвращаюсь, – вот видите, я уже тоже стал прикипать душой к коллективному бессознательному)... И вот когда я возвращаюсь домой, я меняю для своей собаки лоток.

Да-да, это долгая история, моя собака умеет ходить по своим собачьим делам в лоток. Исключительно из чистого патриотизма – все в дом.

Но дело опять не в этом, не в моей чудо-собачке, а в том, что для лотка мне нужны газеты. И я часто набираю их, бесплатные, с рекламными объявлениями, в подъезде, целыми стопками набираю. И вот я как раз разворачиваю одну из них (чтоб, стало быть, постелить) – и вдруг вижу рекламу. «Куда поехать летом!»

– Ну и куда? – интересуюсь я.

– А вот сюда! – восклицает газета. – В Суздаль! И вот сюда, в Нижний Новгород! И сюда, в пансионат «Чистый под-одеяльник»!

А потом делает небольшую приписку: но так как вполне вероятно, что через три-четыре года границу могут закрыть, то есть смысл съездить и куда-нибудь в Европу. И у нас тоже для вас есть несколько предложений.

Газета падает из моих рук.

Повторяю. Я читал газету рекламных объявлений. Реклама по определению должна создавать иллюзорный радост-

ный мир, давать обещание счастья. Настраивать потенциального клиента на мысль, что впереди только рай. Веселые румяные дети, достойный муж, хлопотливая жена, веселые заграничные путешествия, белоснежные лайнеры, приветливый Суздаль.

А тут черным по белому предупреждают, что очень вероятно, что скоро границу прикроют и мышеловка захлопнется.

– Что сидишь? – спрашивает меня моя ученая говорящая собачка. – Стели уже! Сколько можно ждать?

Я стелю и, побледневший, иду пить чай.

Ну а теперь про уже упомянутую ранее Анну Ахматову.

После 17-го года Ахматова ни по каким Парижам больше не ездила. Шла Гражданская война, потом расстреляли бывшего мужа, потом был нэп, потом нэп прижали, провели коллективизацию, начался террор, потом арестовали сына, потом грянула Великая Отечественная война, потом она кончилась, потом вышло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», где Зощенко был назван свиньей, а Ахматова полумонахиней-полублудницей, потом умер Сталин, потом была «оттепель» и травля Пастернака. И много чего еще.

И вот однажды уже старую грузную Ахматову выпустили за границу. Ей вручали итальянскую премию Этна-Таормина. В 1963 году.

Они вместе с сопровождающей ее дамой поднялись в номер, где и должны были прожить несколько дней.

В номере стояла только одна узкая кровать и какая-то почти декоративная кушетка, на которой и сидеть было невозможно.

– Они что-то напутали! – сказала знакомая. – Я сейчас спущусь к администратору и попрошу принести в номер вторую кровать.

– Не смейте! Даже не думайте этого сделать! – вдруг закричала Ахматова, а кричать она умела и в гневе была страшна. – Вдруг это здесь так принято! А мы не знаем!

Подумать только! Что сделало время, люди, политический строй, вся жизнь, государственный патриотизм с той гибкой женщиной, которая, не застав своего любовника дома, стала бросать ему через окошко над воротами мастерской красные парижские розы. Одну за другой, одну за другой. И они падали с той стороны совсем беззвучно.

– Как вы смогли пробраться в квартиру, когда ключ был у меня? Розы лежали так красиво, что это не могло быть случайностью.

– Никак. Я просто их бросала и бросала. Они сами так легли. Я не виновата.

Я иду по улице и вижу рекламную аптечную раскладушку: «Мы патриоты. У нас в продаже всегда есть лекарства отечественного производителя».

Я открываю интернет и читаю о том, что вице-премьер Ольга Голодец выступила с заявлением, что правительство не приветствует лечение россиян за рубежом.

Мне ведомы начала и концы,
И жизнь после конца, и что-то,
О чем теперь не надо вспоминать.
И женщина какая-то мое
Единственное место заняла,
Мое законнейшее имя носит,
Оставивши мне кличку, из которой
Я сделала, пожалуй, все, что можно.
Я не в свою, увы, могилу лягу.
Но иногда весенний шальный ветер,
Иль сочетанье слов в случайной книге,
Или улыбка чья-то вдруг потянут
Меня в несостоявшуюся жизнь.
В таком году произошло бы то-то,
А в этом – это: ездить, видеть, думать,
И вспоминать, и в новую любовь
Входить, как в зеркало, с тупым сознанием
Измены и еще вчера не бывшей
Морщинкой...
Но если бы откуда-то взглянула
Я на свою теперешнюю жизнь,
Узнала бы я зависть наконец...

(А.А.А.)

Поколения «П»

Поговорим, как сильфида с сильфидой. А именно – о Пушкине.

Удивительное дело. Имея такой великий корпус текстов XIX–XX столетий, мы все равно продолжаем говорить, что самый нежный, самый высокий, самый любимый – он. Бедный Маяковский и компания – единственные, кто хоть что-то хотели сделать с этим культом. Пусть это и была только бравада. Бравата и вызов. Но само наличие осознанного вызова говорит об этом действии (желании сбросить с корабля современности) больше, чем что бы то ни было.

Помните у Ходасевича: «Мы будем перекликаться его именем в наступающих сумерках»? Помните у Блока в его знаменитой Пушкинской речи: «Веселое имя Пушкин»?

Неужели больше нечем перекликаться? Неужели больше нет других веселых имен?

В конце концов, какой Пушкин, когда у нас уже был Толстой? Кстати, Толстой. Здесь он был куда свободнее многих и о большинстве текстов Пушкина говорил крайне прохладно. Ну, он и Шекспира не жаловал. Люблю Толстого! Не за тайную свободу (надеюсь, вы опознали цитату), а за реальную. Это, я думаю, и есть основной пункт.

Вся эта патологическая любовь от нашей несвободы. «Если не Пушкин, то кто?» В этом смысле показательна любовь

нашего народа к фамилиям, начинающимся на этот слог. Пушкин, Путин, Пугачева.

Ну вот, как известно, последняя из этого списка по недавнему соцопросу была названа одной из главных персон года. Я люблю Пугачеву, но не могу не спросить: почему она? Этого сейчас достаточно – суррогатного материнства и двух прелестных малюток, – чтобы стать персоной года?

Ответ: достаточно.

Добавочный вопрос: почему?

Добавочный ответ: потому.

Ибо «потому» – это и есть стигмат мифологического сознания. Мы живем именно с ним.

Точнее, в нем.

Отчего вдруг темнеет небо, налетает ветер и зигзагами сверкают узкие линии света, которые прорезывают сизую мглу? Это оттого, что «в относительно малом (но не меньше некоторого критического) объеме облака образовалось электрическое поле с напряженностью, достаточной для начала электрического разряда».

Вы в этом уверены?

Нет. Это бог рассердился на нас и бьет за тучами и белыми облаками с сизым подбрюшьем в литавры и потрясает щитом.

Писатель Захар Прилепин написал в своем Фейсбуке про то, как на эсминце ВМС США произошло массовое самовольствие, когда над палубой двенадцать раз пролетел рос-

сийский бомбардировщик.

– Вот она, толерантность, вот они, права человека и ценность собственной жизни, – вздохнул Прилепин. – А ведь они, военные моряки, призваны страх превозмогать и опасность терпеть.

Новость, разумеется, оказалась фейковой.

Но удовлетворенное замечание Прилепина фейком не оказалось. Оно повисло в воздухе, как воздушные литавры несуществующего бога, но он не врал. Он действительно, наверное, считает, что права человека и осознание ценности собственной жизни – это что-то не очень приличное и чуть-чуть стыдное.

Кстати, о правах. В тех же социальных сетях была шумно и иронично представлена история про женщину не юных лет (ну, типа моего возраста). Которая написала пост по поводу возможных готовящихся ограничений на выезд за границу. В этом нет ничего плохого, уверяла она. Мы и свою страну плохо знаем. А сколько у нас прекрасных мест! Мы и наши дети будем путешествовать по Золотому кольцу!

Любимая мной Татьяна Толстая пришла в этот Фейсбук-статус и написала коротко и емко в комментарии: дура.

И я согласен с Татьяной Толстой.

Как вы говорите? Тайная свобода? Вот она, ваша тайная свобода. В пределах Золотого кольца.

Ну и возвращаясь к Пушкину (вы же любите кольцевую композицию?).

Не так давно я жил три дня в Берлине, на Мотштрассе. И как выяснилось, там не только сейчас гей-район, куда мы с моей подругой, надо сказать, попали случайно и очень боялись за свои духовные скрепы (вдруг отвалятся). Но и район, где в 20-е годы XX столетия жили писатели-эмигранты, которые составляют славу русской поэзии. И во многих случаях не уступают нашему Александру Сергеевичу. Марина Цветаева, Андрей Белый, Владимир Набоков и другие.

Уже упомянутый Ходасевич (тоже эмигрант) говорил, что они все перекликаются именем Пушкина в наступающем мраке.

Но он ошибся. Не они одни.

Сталинская Россия им тоже перекликалась. Перекликаются люди и сейчас. Мне это кажется диким. Слава богу, что массовое интеллигентское сознание усвоило хоть еще одно поэтическое имя и теперь (в кучку) перекликается и именем Бродского. Но и тут не знают меры.

Помните? В фильме «Раба любви» еще талантливого Никиты Михалкова есть сцена, когда Елена Соловей едет на взбесившемся трамвае, сидя на задней площадке, и шепчет мчасьимся за нею конным белогвардейцам, к слову сказать, ее не слышащим: «Вы звери, господа. Господа, вы звери».

Так вот. Вы не звери, господа.

Вы – рабы. Ну, и чтоб никому не обидно, я тоже.

Отличный вывод, по-моему.

Хотя и постыдный.

Здравствуйте, Алла Борисовна!

* * *

Ночное небо так угрюмо,
Заволокло со всех сторон.
То не угроза и не дума,
То вялый, безотрадный сон.
Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.
Как по условленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса.
И вот опять все потемнело,
Все стихло в чуткой темноте —
Как бы таинственное дело
Решалось там – на высоте.

(Ф. Тютчев)

Тарелочки для пайки

Однажды – лет восемьдесят тому назад – по льдистым тротуарам предвоенного советского Воронежа (а зимой тротуары там превращались в сплошной лед, и слово «льдистый» тут придумано не ради красоты, это исключительно документальный эпитет) шли мужчина и женщина. Мужчина выглядел стариком, хотя на тот момент ему было примерно сорок пять лет. А женщина мерзла в куртке на рыбьем меху и резко за что-то выговаривала своему суетливому спутнику.

Потом она будет сильно жалеть об этом. О своей вспыльчивости и резкости.

И не потому, что он ушел от нее к другой, не потому, что он променял ее на более молодую или просто оставил на старости лет из-за ее вздорного и злого характера, хотя характер у нее действительно был не сахар. А потому что он умер. Во владивостокском лагере. Правда, не сразу.

Как написал один свидетель его последних дней, однажды, распределяя хлеб по баракам, он заметил, что бьют какого-то щуплого маленького человека в коричневом кожаном пальто. Когда свидетель спросил: «За что бьют?» – ему ответили: «Он тяпнул пайку». На вопрос, зачем же он украл хлеб, завшивленный 47-летний старик ответил, что он точно знает, что его хотят отравить, и потому схватил первую по-

павшуюся пайку в надежде, что в ней нет яду. Кто-то сказал: «Да это сумасшедший NN!» И назвал фамилию.

Через несколько недель сумасшедший NN умер.

Это было 27 декабря 1938 года.

На другом конце бескрайней страны в этот день проснулась его жена и все поняла.

Вот ее слова: «Проснувшись, сказала Шуре: Ося умер. Не знаю, жив ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня. Знаешь ли, как люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе...»

Этой женщиной была Надежда Яковлевна Мандельштам. А умерший старик – поэтом Осипом Мандельштамом. Я думаю, уже все догадались.

И вот я приезжаю в Воронеж (по своим делам, никак не связанным с Мандельштамом) и вечером прошу отвезти меня на ту улицу, где он жил. Меня везет туда машина, на улице стоит предновогодний дубак, температура приближается к 23 градусам мороза. Мы едем по ярко освещенному городу, двоятся и переливаются фонари, когда наша машина поворачивает, и на всем протяжении пути сверкает декабрьская иллюминация.

Когда меня подвозят к искомому месту, мы выходим из машины и спускаемся к началу странного проулка.

В этот момент со временем что-то случается. Оно как-то надламывается.

Проезд ныряет вниз, а я начинаю скользить на легких

подошвах. Возникает ощущение, что мы провалились в щель времени. Я вижу вросшие в ледяную землю низкие одноэтажные и двухэтажные дома, и только припаркованный у правого хлипкого домика джип свидетельствует о том, что время провалилось не окончательно.

– Здесь Мандельштам и жил, – говорит сопровождающий.

Я вижу дом, где жил ссыльный О.М. Вижу низкое окно.

Вижу ледяную горку улицы, скатывающуюся вниз.

Это какая улица?

Улица Мандельштама.

Что за фамилия чертова —

Как ее ни вывертывай,

Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,

Нрава он был не лилейного,

И потому эта улица

Или, верней, эта яма

Так и зовется по имени

Этого Мандельштама...

Почему-то меня охватывает страх. Я думаю, что сейчас выйдет хозяин припаркованного джипа и спросит, что мы делаем у его машины.

– Давайте уедем, – говорю я.

Меня отвезят обратно в гостиницу, но даже там меня не оставляет ощущение застрявшего в костях холода. Я остаюсь

один, лежу в номере, пишу какие-то глупости в Фейсбуке, а холод не уходит и не уходит. Впрочем, может, что-то там было с отоплением в этой гостинице? Черт его разберет.

И вот через два года – яркой желто-голубой осенью – я иду по Москве свои ежедневные километры. Перебегаю на последнем мигании светофора через Старую Басманную и зачем-то подхожу к газетному киоску. (Слова с суффиксом «-то» – это вообще мои слова. Зачем-то, куда-то, почему-то. Я плохо иногда понимаю, что мной руководит в тех или иных моментах моей не самой сознательной жизни. Но неожиданные подарки от этого неопределенного суффикса часто перевешивают его же ущербы и досадные недостатки.)

На самом видном месте газетного развала лежат пластмассовые тарелки. Те, которые вешают на стену. Для красоты. Кто-то любит кошечек. Кто-то – цветочки. Кто-то уважает Путина. А кто-то любит погорячее. И вот на одной из этих тарелок отпечатан Сталин. Собственной персоной. Иосиф Виссарионович.

И тут я осознаю, что эпоха опять, в очередной раз, сдвинулась и щель времени ползет по только ему, времени, понятному шву.

Я понимаю, что возвращение к советскому стилю (в оформлении, в хорошо отрежиссированной ностальгии, в мышлении) – это болезнь нашего языка. И нашего сознания. Когда-то казалось, что все это ушло в прошлое навсегда. Но нам это только казалось.

Немного сухой информации. Жители Октябрьского района Новосибирска недавно установили памятник Иосифу Сталину, пишут нам местные СМИ.

Экскаваторщик Виктор Дмитриев нашел полуразрушенный бюст Сталина в одном из ангаров городского завода. Он отреставрировал памятник, раскрасил его золотистой и черной красками и установил перед домом на бетонном блоке. Власти города пока никак не реагируют на несанкционированную установку монумента.

«Он лежал среди мусора, в пыли, медали с его груди были отбиты, в общем, в плохом состоянии памятник был. Мне подумалось: «Негоже вождю валяться на свалке», – рассказал «реставратор» о своей находке.

Отношение к памятнику у новосибирцев различное: пожилые люди возлагают к нему цветы, молодые активисты, наоборот, предпринимают попытки разбить бюст. Накануне вождю уже откололи нос.

Нос. Понимаете? Нос. И нос Сталина встал и пошел бродить по России. Нет, это просто Гоголь какой-то.

Но закончить я все-таки хочу на другом.

Осип Манделштам был гений. Может, самый фонетический поэт после Пушкина. Когда ты его читаешь вслух – возникает ощущение, что ты перекатываешь языком янтарную виноградину. Но этого поэта убили. После плановой дезинфекции (от вшей) одежды заключенных Манделштаму стало плохо, он положил левую руку на сердце и рухнул на пол.

Он лежал на полу голый, с бледным лицом, не дышал.

Подбежали его товарищи по лагерю, тоже голые, сгрудились вокруг него. «Затем повернули тело: никаких мышц, одна шкурка – бесформенное, истощенное тело человека, боявшегося съесть свою порцию! Но положить тело было некуда, так как лавки были завалены бельем». После чего поэта Мандельштама положили на тележку и увезли.

Помните, я цитировал вам последнее письмо Надежды Яковлевны своему мужу? Так вот. Я его процитировал не полностью. Этим письмом завершается книга ее воспоминаний, и это письмо режет, как и положено бумаге. Прочтем его до конца.

«Мы, как слепые щенята, тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячешная голова, и все безумие, с которым мы прожигали наши дни. Какое это было счастье – и как мы всегда знали, что именно это счастье. <...> Последний сон: я покупаю в грязном буфете грязной гостиницы какую-то еду. Со мной были какие-то совсем чужие люди, и, купив, я поняла, что не знаю, куда нести все это добро, потому что не знаю, где ты. Проснувшись, сказала Шуре: Ося умер. Не знаю, жив ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня? Знаешь ли, как люблю? Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе... Ты всегда со мной, и я – дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, – я плачу, я плачу, я плачу. Это я – Надя.

Где ты? Прощай. Надя».

И вот теперь нам предлагают тарелочки.

Балконы большого города

Меня всегда удивляло, как люди обустраивают свое пространство для жизни. В квартире, в блоге, в электронном письме.

Я иду по городу (городу, в котором половина года зима или непонятная межсезонная мгла и слякоть) и вижу, что большинство балконов застеклены. Почти ни одного балкона с решеткой, все обшиты либо шифером – а он ужасный: серый, скучный, как сны улитки, – либо желтой и зеленой пластмассой. Очень практично. Наставил там банок на балконе, завалил все бесполезной требухой, ошметками своей жизни, которыми никогда больше не воспользуешься, но которые выбросить жалко, закрыл все это от взгляда прохожих, сидишь в конуре, на балкон не выйти: дзынь-дзынь, говорит старый велосипед, который больше тебя никогда не прокатит, только стукнешься об него бедром, которое больше никто не сожмет в страсти, чертыхнешься, но выбросить велосипед жалко. Пусть стоит здесь до лучших дней. Вдруг пригодится!

Не пригодится.

Не сожмет, не прокатит велосипед, не зазвонит звоночком. Не будет их, лучших дней.

Девушка не выйдет тебе навстречу в легком платье, с тонкими руками, не обнимет за плечи. Потому что она тоже

постарела, завалила свой балкон банками, причем пустыми, чтоб про запас, а в шкафу это легкое несбывшееся платье погребено под мохером и кофтами. Сверху – шапка из песка. Для тепла.

Прощай, девочка, здравствуй, лоджия!

Кстати о лоджиях. Самое страшное, что я вижу в городе, – это они.

Это ж какой печалью – звериной, пушной – надо обладать, чтоб понастроить у балконной двери огромный скворечник, впустить в комнату вечный сумрак, зажигать из-за этого даже днем люстру, такую вечную, бабушкину, хрустальную, в сосульках. Повесить тяжелые шторы. А некоторым и этого мало: не только лоджию из балкона соорудили, но еще и занавески на ее окна повесили. Чтоб уж вообще никакого света. Одно тепло. Надышанное годами. Милое, удушающее, овечье. Забаррикадировать жизнь.

...Я помню, как я жил две недели в Париже. Жил я у самого Люксембургского сада, в обычном центральном парижском доме начала XX века, с такими чугунными окнами, с защелкой, с витой перегородкой на четверть окна. Чтоб не выпасть.

Но через сад я видел другой дом. Годов шестидесятых. И этот дом был счастьем.

Там окно было во всю стену. Именно во всю. Точнее сказать, стены никакой и не было. Стена и была окном. И эти окна сияли. Особенно по вечерам. И можно было наблюдать

за людьми, которые ходили по своим квартирам, пили вино, ели, ссорились, просто сидели, тосковали, скучали, работали, ничего не делали. Просто жили жизнь – свою, открытую и живую.

Вот теперь и у меня есть мечта. Невоплотимая, как любая другая настоящая мечта. Снести нижнюю часть балконной двери. И всю ее просто застеклить. Чтоб в нее можно было видеть прутья балконной решетки и московское дерево под окном.

И я видел недавно такой дом. Да-да, тут в Москве, причем у себя по соседству. Синяя решетка балкона, пустое пространство за ней – и балконная дверь. Сплошная балконная дверь без нижней перегородки. Я стою внизу, рот раскрыл, оторваться не могу. Я бы хотел жить с вами, шепчу, в маленьком городе.

Но не тут-то было!

Сверху свешиваются хозяева и кричат: «Уходите, старый дурак! Это наше счастье. Наши окна в пол. Как бальные платья! Не твое это, уходи».

Ушел.

А дома залез в интернет, открыл один пост в ленте и вижу. Под какой-то новостью из Европы – комментарии. Один слаще другого. Я их, если что, сохранил. Чтоб такое чудо не потерять.

Вот министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что в последние несколько лет Россия изменилась в худ-

шую сторону. Если в первое десятилетие после развала Советского Союза она демонстрировала в политике приверженность западным ценностям и пыталась привить их населению, то нынешнее русское руководство встало в жесткую оппозицию Западу.

Бог с ним, с министром. Бог с тем, что он там считает. Бог с ней, со Швецией. Бог с ней, с оппозицией Западу. Гораздо поучительней, что пишут наши с вами соотечественники. Цитирую:

1. Да он с дуба рухнул, что ли??? Да, ценности западные мне точно не нужны – факт.

2. И мне! И остальным 150 млн россиян.

3. Ну конечно! Православные не разрешат инцест и педофилию! Не будут трехлетних детей учить мастурбации! Не позволят открывать бордели для секса с животными! Не допустят разрушения семьи и использования детей как секс-объектов! Не разрешат отнятие у людей родины!

4. Согласна я со шведским министром, именно православие – главная угроза гейропе.

5. Ну конечно, для современных потомков викингов православие – это страшная угроза. Бойтесь, гады, как предков наших боялись! Жрите мухоморы для храбрости! Авось пронесет!

Конец цитаты.

У поэта Марины Цветаевой есть стихотворение, которое начинается так:

...Я бы хотела жить с Вами
В маленьком городе,
Где вечные сумерки
И вечные колокола.
И в маленькой деревенской гостинице —
Тонкий звон
Старинных часов – как капельки времени.
И иногда, по вечерам, из какой-нибудь мансарды —
Флейта,
И сам флейтист в окне.
И большие тюльпаны на окнах.
И может быть, Вы бы даже меня не любили...

А заканчивается оно следующим образом:

Вы бы лежали – каким я Вас люблю: ленивый,
Равнодушный, беспечный.
Изредка резкий треск
Спички.

Папироса горит и гаснет,
И долго-долго дрожит на ее краю
Серым коротким столбиком – пепел.
Вам даже лень его стряхивать —
И вся папироса летит в огонь.

Так вот.

Я бы хотел жить с вами в одном городе, желательно боль-

шом. Где было бы много солнца и света (в России его тоже много, и это здорово) и где стояли бы, как прялка, синие длинные сумерки. Я бы хотел, чтобы в этом городе было умеренное количество колоколов. Чтобы у людей в нашем городе наконец встали на место мозги. Чтобы они перестали сочиться ненавистью и биться в приступах ксенофобии. Чтобы мы наконец поняли, что мир – один. Что мир – большой.

Ну и желательно, чтобы вы не курили.

Сделайте нам красиво

Это про Достоевского еще было замечено. Все его романы (в сущности, построенные как одна большая истерика) развиваются всегда одинаково. Сидит вялое приличное общество. Все чин чинарем. Позвякивают ложечки, передаются розетки с вишневым вареньем, кто-то тренькает на балалайке, вдруг – чу! – дверной колокольчик внизу, быстрые легкие шаги по лестнице, вскрик, в дверях стоит Настасья Филипповна, ее глаза горят дивным огнем, балалайка в сторону, розетки с вареньем на головах, деньги в камин, а чучело медведя, спокойно простоявшее всю первую часть в углу, вдруг оживает и убегает в лес.

Все-таки Достоевский – наше все. Он, а не Пушкин. Что бы там ни говорил Аполлон Григорьев.

Я написал в «Газете. Ru» цикл статей, посвященных центру, который работает с аутистами. Сам центр находится в Петербурге, называется «Антон тут рядом», но я сейчас не об этом. Я о реакции людей на некрасоту. Или на то, что они считают некрасотой.

Когда была опубликована моя первая статья и я повесил ее в своем блоге, там разразился самый настоящий скандал.

Он был некрасив, как все скандалы, он не может утихнуть до сих пор, он был иррационален и вполне, с другой стороны, предсказуем. Все приняли в нем деятельное участие, все

отличились, и я не исключение. Я наговорил много лишнего и сейчас об этом жалею. Однако самой сути нашего разногласия мое нынешнее сожаление не меняет.

Например, выяснилось, что фотографировать подростков и молодых людей, являющихся аутистами, надо не такими, какие они есть на самом деле, а красиво.

Не с открытым ртом (хотя он у этого парня почти всегда приоткрыт, ну такой он, извините его), а с закрытым. Не с этой стороны, а с другой. И вообще вот «этого» лучше совсем не фотографировать. Выберите кого-нибудь помилее, пофотогеничнее, ведь есть же прекрасные работы Тимоти Арчибальда, вот на них и равняйтесь. И вообще, не портите нам настроение.

Попутно мы выяснили, что многие реальные детали из жизни этих ребят тоже должны быть опущены, вымараны, исключены из спектра нашего внимания. А значит, и знания. О них вообще нельзя говорить. Например, что отец одного молодого человека спился, а потом пропал. И девушка, работающая в центре, проявила упорство и недюжинные детективные способности, но отца нашла. Правда, только уже в виде трупа. На опознании.

– Вот про труп не надо! – говорило приличное общество, зашедшее на огонек. – Давайте лучше про розетки с вареньем и балалайку. Сыграйте нам, Дмитрий Борисович, на ней «Лунную сонату», первую часть. Потому что о второй части «Лунной сонаты» мы и не догадываемся.

Но тут звенел колокольчик внизу, стучала входная дверь, слышались легкие шаги, и в дверях комнаты уже стояла настоящая Настасья Филипповна. Не вы и не я. И она была, вероятно, не очень фотогенична. Как выяснилось в реальности. Не «ми-ми-ми». И портрет, показанный Рогожиным Мышкину, ей явно льстил. Но это была Живая Настасья Филипповна. И ей нужна была наша помощь.

Не обсуждение ее красоты или отсутствия у нее этой красоты, а помощь.

– Дорогая Л., – сказал я в комментариях одной молодой женщине, живущей за границей, которая тоже была недовольна фотографиями. – Под статьей есть реквизиты, на которые можно послать деньги для этих ребят. Пошлите! Это лучше, чем просто сейчас обсуждать фото.

– Я пошлю, если сочту нужным, – со сдержанным достоинством ответила она.

Если сочтет! Если сочтет нужным.

Спасибо, барыня.

Ну а теперь небольшое отступление. Лирическое, как соловей.

...Некоторое время назад у меня случилось кровоизлияние в мозг. Это было очень больно, страшно и, в сущности, необратимо. По итогам кровоизлияния я потерял память, способность ориентироваться в городе и теперь всегда хожу как обдолбанный. На столе рядом с компьютером у меня лежит блокнот, в который я записываю все, что должен сделать.

Потому что, если я не запишу, я об этом абсолютно точно забуду. Иными словами, у меня в голове больше нет символического календаря. Он стерт.

Но одну вещь я помню.

Уже после всего – через два месяца, после двух операций и Бурденко – я залез в ЖЖ и увидел забавный пост одной из френдесс.

Она писала: «У меня на другой стороне улицы есть какое-то странное заведение с железной дверью, над которой написано: «Гамма-нож». Я часто вижу, как туда заходят толстые тетki. Наверное, это очередной центр пластической хирургии. И они думают, что выйдут оттуда принцессами. Ха-ха-ха!»

Пришлось прийти к ней в комментарии и сказать, что «гамма-нож» – это радиохирургическое лечение внутречерепных опухолей, метастазов, сосудистых мальформаций и других патологических образований. И эти смешные толстые тетki просто больны раком или у них что-то серьезное с сосудами в голове. И я это знаю точно, потому что сам проходил это лечение.

Во всей этой истории важен не мой дурной характер (а он у меня действительно дурной), а та неготовность людей смотреть на мир без иронических или, наоборот, розовых очков.

Если толстые тетki – то, значит, пластическая хирургия.

А если молодые аутисты из центра «Антон тут рядом», то

сделайте нам красиво.

В общем, дайте нам «ми-ми-ми».

Так вот. Не дам.

Больше ненависти, господа

Есть две вещи на этом свете, которые сейчас занимают меня больше всего. Это смерть (как к ней подготовиться внутренне). И ненависть. Которой сейчас вокруг так много, что кажется, будто горят где-то символические торфяники, как это было несколько лет назад в Москве, когда мы все сидели в сплошном дыму.

Со смертью – все понятно. Ее, как известно, нет.

Но не в том религиозном смысле, который, мне кажется, является уловкой и заблуждением. А в самом простом. Очевидном. Который шепчет тебе, что либо есть ты, и тогда она, смерть, отсутствует, либо победила она, но ты об этом уже никогда не узнаешь.

Недавно я это увидел так ясно, как бывает только в полусне, на тонкой грани между провалом в беспмятство и еще отслеживающим себя сознанием.

Я жил несколько дней в домике под Рязанью и вот однажды вечером ощутил это новое знание как мыслительную вспышку, как грубый и простой образ, зависший в воздухе шебуршащейся метафорой.

В моем домике уже был зажжен свет, и тьма близлежащего леса вплотную подступила к оконному стеклу с той стороны. Я что-то читал, но вдруг ужасно захотел спать. Не выключая свет, я закрыл глаза и вдруг услышал шуршание. Я снова от-

крыл глаза и увидел ночную бабочку, бьющуюся в стекло из глубины ночи, и вдруг понял, что умирание – это и есть бабочка. Только как бы «обратная». Перелетающая из комнаты, напоенной медовым светом бревенчатых, а потом обшитых залакированными досками стен, – туда, где тьма, ночной ветер, несуществующий Серый волк, леший и Баба-яга.

И если встать и приблизить сейчас свое лицо к темному и прохладному окну, то ты переживешь тот самый, так многих живущих страшший, стремительный переход.

Все, что мучило тебя, радовало в этой комнате, все, что вызывало скуку или желание, – все закончится, как только ты сдвинешь свое лицо на пять сантиметров вперед. Всего пять сантиметров. И больше ничего не будет.

И только за тобой останется пустая желтая освещенная комната, про которую ты даже не вспомнишь с сожалением, потому что и вспоминать ее тоже будет некому.

Это было так четко, так сильно и так прекрасно, что я даже расхотел спать.

И теперь часто, когда я иду по улице, я иногда ловлю себя на мысли, что вот сейчас уже можно было бы благополучно умереть. Увидев на прощание блеск неба, яркое окно машины, последний день осоловевшего от жары лета.

Это очень плодотворное ощущение.

Золото моих волос

Тихо переходит в седость.

– Не жалеите! Все сбылось,
Все в груди слилось и спелось.

Это написала Цветаева. И хотя ее собственная жизнь показала, что не все так по-гетевски просветленно спелось и закончилось у самой Цветаевой, это не отменяет силы и правды этих стихов.

Я благодарен людям, которые любили меня, надеюсь, они благодарны мне, я рад, что я родился в России, я никогда не хотел бы отсюда уезжать, я видел другие страны, я любил тебя в Париже и дружил с вами в Берлине, я написал стихи, которые никто бы не смог написать, кроме меня.

По-моему, это круто.

Можно уже никого и не обременять.

Но тут уже приходит вторая тема и стучит кулачком.

– Открой дверь, – говорит она. – Это я, твоя ненависть.

Вы заметили, что мы последнее время в прямом смысле сочимся ненавистью?

Это особенно видно благодаря интернету. Если раньше, чтобы пойти на конфликт, тебе надо было, по крайней мере, обладать физической храбростью, то сейчас не требуется даже она. За тебя все сделают клавиши. И основная война идет именно с помощью них.

Это от безнаказанности.

И безответственности.

Буковки якобы не болят.

Поэтому мы пишем в сети то, что мало кто мог бы себе позволить сказать человеку в реальном времени и сокращенном до вытянутой руки пространстве. Готовность человека стать злой и веселой обезьяной отлично доказал один, уже давнишний, перформанс-эксперимент.

Вы многие про него знаете и читали, но я все равно напомним.

В семидесятых годах известный мастер перформансов Марина Абрамович провела эксперимент: она неподвижно встала в одном из выставочных центров и разложила перед собой огромное количество разнообразных предметов: от молотка с пистолетом до акварельных красок. При этом присутствующим разрешалось взять любой из этих предметов и делать с Мариной все, что им захочется.

Поначалу люди стеснялись, но потом разошлись и стали делать вещи, которые раньше не могли в себе и предположить. Причем они не только делали, но даже и хохотали при этом.

Они раздели ее, разрисовали и порезали. «Я хотела показать одну вещь: это просто удивительно, насколько быстро человек может вернуться в дикое пещерное состояние, если ему это позволить», – сказала потом Марина Абрамович. Перформанс был остановлен охраной музея, когда один из посетителей взял пистолет.

Но самые жирные подарки нам дарит, как известно, не художник. А зритель. И уже упомянутый интернет.

Под статьей, напомнившей про этот перформанс-эксперимент Абрамович, было много комментариев. Но лучший, конечно, был вот этот (я его сохранил):

– Еще бы голая встала в позу мама моет пол, а потом сказала, что все мужики одинаковые. Мы звери!)))

Тут все прекрасно. И фрейдистское про «маму, которая моет пол», и предположение, что если человек, не ровен час, в этой позе стоит, то твое последующее сексуальное поведение вполне оправданно.

И теперь, когда я читаю многих своих знакомых в интернете, я понимаю, что они сами от этого человека ушли недалеко. Или просто к нему вернулись.

А ведь некоторые из них даже пописывают стихи.

Больше ненависти, господа!

Больше ненависти.

Ненависть, как известно, спасет мир. Это еще Достоевский говорил.

Как на ладони

Поговорим о дряни, как сказал наш лучший и талантливейший поэт советской эпохи Владимир Маяковский.

Но сперва небольшая предыстория.

Когда-то в еще доинтернетную эпоху я ушел из родительского дома и стал снимать квартиру. За два года я, естественно, оброс мелкой человеческой жизнью: черновиками, записками, грудой вещей и даже полисом медицинского страхования.

А потом у меня умерла бабушка. И мне по наследству досталась жилплощадь. Описав символический жизненный круг, я должен был вернуться в тот же район Москвы, где прошло мое детство. Только в другой подъезд. Для меня это было сильное переживание. И вот, готовясь к переезду, я вдруг понял, что мне надо сделать. Уничтожить всю предыдущую жизнь. Переехать в последний дом (а уже тогда было понятно, что этот дом последний) без вороха прошлого. Без бумажного белого шума, без лишних писем, без стихотворных черновиков и старых, хотя еще и не заношенных, вещей. Потому что прошлого, как известно, нет.

Тогда я и вычистил весь свой архив.

И в помойку полетело все: бумаги, свитер, картонки, исписанные быстрым, неразборчивым для других почерком (удобней всего было писать на разорванных упаковках-бло-

ках от сигарет) и даже полис медицинского страхования (случайно).

И вот я сидел в съемной квартире на чужой опустошенной кухне, читал поэта Сергея Гандлевского и думал, что приеду в опустевший бабушкин дом, где на столе еще стоит ее чашка, а в холодильнике хранится белый хлеб, который она положила, но так и не съела, и наконец узнаю ее реальную подноготную жизнь. Найду письма от бабушки (а может, еще от кого-то, скрытого в молодой перспективе), какой-то личный дневник, письма от моей покойной мамы, ее дочери, или, может, какой-нибудь тайный дар мужской Изоры, например перстень с ядом, как у Сальери.

Письма я нашел. Всего остального – нет.

В книжном старинном шкафу из красного дерева, в нижнем створчатом отделении, пахнущем книгами, машинописными копирками и чем-то сладким, косметическим, я нашел только скрепленную тощую папку с бумагой, удостоверяющей наследование, «жировки», как их тогда называли (бланки с оплаченными жилищными счетами), и сберкнижку.

Все, что надо было для продолжающейся жизни. Моей и сестры.

Никаких сантиментов. Никаких сувениров прошедшей любви. Потому что если любовь прошла, то не стоит хранить ее сувениры.

И вот я сидел рядом с распотрошенным книжным шкафом и думал, как мы с бабушкой похожи. Как два отражаю-

щих друг друга зеркала.

«Бог не сентиментален», – написала однажды поэтесса Елена Шварц. Мы были с бабушкой этим самым несентиментальным богом. Бог, единый в наших двоящихся с бабушкой лицах, не сохранил ничего. Не пожелал. Не пожалел. Не умилился.

Зато интернет теперь сохраняет все. И вот как раз сейчас о дряни мы и поговорим.

В благословенные советские времена, куда так хотят вернуться до 80 процентов россиян, интернета, как известно, не было. В это время нам было дано ну от силы тридцать-сорок знакомых, с которыми мы могли общаться. Из них десять-пятнадцать, с которыми мы общались регулярно. И только эти десять-пятнадцать знакомых могли донести до нас любую свою не самую оригинальную мысль.

Нынче – не так.

Теперь напишешь текст, выведешь его в интернет, двадцать первых комментариев нормальные, а с двадцать первого – прибегают упыри. Лезут на свет. Кишат.

Читаешь, например, рассказ двадцатитрехлетней каирской студентки и гражданской активистки про насилие, использованное против инакомыслящих в Египте, и ужасаешься:

«Когда меня свалили на землю ударом дубинки, сзади подъехала полицейская машина и специально придавила колесами мои длинные волосы. И они воспользовались тем,

что я была фактически распята на асфальте. Они схватили меня за ноги, содрали одежду и белье и перевернули на живот. Не хочу вам сейчас живописать эти гадкие подробности. Несколько мужчин-полицейских изнасиловали меня так, как каждому из них захотелось. Я кричала и плакала, но мне это не помогло».

Заходишь в комментарии, а там некто Наталья Биляева. Через «и». Пишет: «...не станет египетская женщина, которую изнасиловали, вообще об этом давать интервью».

И теперь Наталья Биляева – факт моей жизни. И от этого никуда не деться. Если, конечно, не произойдет случаев благодатная выборочная амнезия.

Или вот, помню, был в нашей губернии другой случай.

Напишешь, например, текст про то, как унижали геев в концлагерях в фашистской Германии, – придет какой-нибудь «Николай Биляев» и заметит: «Жаль, что у нас такой концлагерь построить нельзя. Я был бы только за!» И вот этот дурак и мерзавец – тоже отныне факт моей жизни.

И с этим уже тоже ничего не поделать.

И так по всем пунктам. Про несправедливо уволенных – «сами виноваты». Про пострадавших от полицейского произвола – «так им и надо». Про насильно выданную замуж девушку – «она сама хотела».

Теперь мы у всех (и у случайных забредших к нам людей, и у пристально за нами следящих) как на ладони: со всей нашей мелкой неправильной жизнью, которую не подправить,

со всеми нашими сиюминутными несправедливыми жалобами, со всеми нашими пьяными потугами нежности и юмором.

Когда мы умрем, Бог, в которого я не верю, возьмет нас, копошащихся в испуге, на свои огромные прозрачные ладони и спросит: ты это писал?

И ткнет нас носом во все мерзости и пошлости, которые мы плодили, пока были живы и легкомысленны, в интернете.

– Ты писала, Биляева через «и», в комментарии про изнасилованную активистку, что ни одна египетская женщина не станет давать интервью? А, египтолог ты мой? Отвечай!

– Я! – пискнет Биляева, пытающаяся вывернуться с божьей ладони. Из ослепительного света очевидной последней правды.

– Ты, Биляев, хотел строить лагеря для людей, которые отличаются от тебя сексуальной ориентацией? Что пицишь? Ты?

– Я! – скажет Биляев. – И даже сейчас не отрекусь!

Бог щелкнет его ногтем, и полетит Биляев вниз.

– А вот и Воденников! – усмехнется Боже. – Ты писал, старый толстый дурак, про других дураков и о всякой дряни, вместо того чтобы сеять разумное доброе вечное? А? Отвечай!

– Я, Господи! – отвечу я.

И Бог меня простит.

Воденников в любви

Трактат о поцелуях

<...> Свершив омовение усопшего, его затем передевали в специальную «одежду мертвых», которая должна быть новой, не соприкасавшейся с живым телом. Шили ее без узлов, на живую нитку. При шитье иголку держали левой рукой, в направлении «от себя», то есть к покойнику. Все это подчеркивало непригодность погребальной одежды для повседневного бытия, обозначало «инакость» (зеркальность) загробного мира. По этой же причине обувь сшивали переметочным швом, проходящим по оси подошвы, поскольку для загробного мира не годился крепкий тачной шов, спрятанный в толще кожаного листа.

(Из статьи про ритуальную обувь)

...Мальчик говорит бабушке:

– Баба Тага, ты дура.

Бабушка обижается, всерьез, на полдня, – и через такую бездну солнечного весеннего времени, истомленный тем, что нельзя же так долго обижаться (ибо жизнь стопорится, черствеет, а ведь хочется легкости, счастья, чтоб без обид),

но совсем без чувства вины, совершенно бессовестно мальчик подходит к бабушке и, ни разу не попросив прощения, начинает, смеясь и злясь одновременно, в какой-то веселой испуганной ярости бабушку обнимать и тормошить, а потом, взяв руками ее голову в платочке, прижимается к ней щекой – со всей возможной на данный момент детской силой.

Затыкает старый беззубый рот своей гладкой щекой (так, чтобы было трудно дышать):

– Ну поцелуй меня, бабушка, поцелуй.

Бабке трудно дышать, и, хотя вся эта история ее раздражает (она же не собака), через какое-то время она целует гладкую щеку.

Бабушка давно умерла, поцелуи высохли через секунду, а метод остался.

Надежда Мандельштам в своей «Второй книге», как всегда мимоходом, рассказывала о женщине, которая не захотела доносить на невинных людей, даже тогда, когда ей сообщили (с предельной палаческой честностью), что в случае отказа от сотрудничества ее отправят в Лефортово («здесь, на Лубянке, она вольна назвать кого угодно по своему выбору, а в Лефортово она будет рада назвать родного отца, чтобы получить минуту передышки»). Она оговаривать ни в чем не повинных, поруганных еще на свободе людей (любых: нужно было всего пять знакомых имен, первых, что ей придут в голову) отказалась.

«Я спрашивала ее: «Почему же вы поступаете хорошо, а

не плохо?» Она не задумываясь ответила: «Потому что мне так хочется...» <...> Она молчала, а следовательно выжидал. Наконец он спросил, что она надумала. Она ответила: отсылайте в Лефортово... «Пусть в Лефортово я назову собственного отца – это вы вынудите меня. А здесь, добровольно, я никого назвать не могу...» («Я не сказала «не хочу», я сказала «не могу» – недавно повторила Н. Н. «Не могу» кажется ей не столь высоким актом, как «не хочу»»).

Мне эта история всегда нравилась (если это слово сюда вообще подходит: как может нравиться эпизод из жизни реальных жертв и палачей? это же не музейная акварель, не учебный мультфильм), при всем том, что в мелкой жизни стратегия «мне так хочется» всегда казалась и кажется жалкой и обтерханной. Видимо, эта стратегия только для моментов испытания. И все же...

Я отлично все понимаю: что своеволие – это тупик, что своеволие – это не свобода... Но так уж сложилась сегодняшняя жизнь (а может, она вообще так сложена? как паршивая поленица?), что ни с одним человеком не хочется солидаризироваться.

Ни с К. М., ни с Н. Н., ни с М. А.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.